

АНТОН МАКАРЕНКО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА. ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ

Бестселлеры воспитания

Антон Макаренко

**Педагогическая
поэма. Полная версия**

«Public Domain»

1936

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макаренко А. С.

Педагогическая поэма. Полная версия / А. С. Макаренко —
«Public Domain», 1936 — (Бестселлеры воспитания)

ISBN 978-5-17-099323-9

Антон Макаренко – гениальный педагог и воспитатель. Его система воспитания основана на трех основных принципах – воспитание трудом, игра и воспитание коллективом. В России имя Антона Семеновича Макаренко уже давно стало нарицательным и ассоциируется с человеком, способным найти правильный подход к самому сложному ребенку... Уже более 80 лет «Педагогическая поэма», изданная впервые в трех частях в 1936 г., пользуется популярностью у родителей, педагогов и воспитателей по всему миру. В 2000 г. она была названа Немецким обществом научной педагогики в числе десяти лучших педагогических книг XX века. В настоящем издании публикуется полностью восстановленный текст «Поэмы». Книга адресована родителям и педагогам, преподавателям и студентам педагогических учебных заведений, а также всем интересующимся вопросами воспитания.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-099323-9

© Макаренко А. С., 1936
© Public Domain, 1936

Содержание

От составителя	6
Часть первая	26
[1] Разговор с завгубнаробразом	26
[2] Бесславное начало колонии имени Горького	28
[3] Характеристика первичных потребностей	35
[4] Операции внутреннего характера	41
[5] Дела государственного значения	46
[6] Завоевание железного бака	50
[7] «Ни одна блоха не плоха»	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Антон Макаренко

Педагогическая поэма. Полная версия

*К 130-летию со дня рождения Антона Семеновича Макаренко
(1888–1939)*

*С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю
Максиму Горькому*

© С. С. Невская, составление, вступительная статья, примечания,
комментарии, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

От составителя «Поэма всей моей жизни...»

Перед вами, дорогой читатель, удивительная книга – «Педагогическая поэма», внимательно читая которую проникаешь в глубины сознания тонкого знатока человеческой психологии Антона Семеновича Макаренко, масштаб личности которого вызывает глубокое чувство уважения.

В 2016 г. исполнилось 80 лет «Педагогической поэме», отдельное издание которой в трех частях появилось в 1936 г. «Поэма» имеет необычную десятилетнюю историю создания, но прежде чем раскрыть эту историю, обратимся к малоизвестным широкому кругу читателей страницам биографии А. С. Макаренко – великого педагога XX века.

Страницы жизни и деятельности А. С. Макаренко

А. С. Макаренко родился 13 (1 по ст. ст.) марта 1888 г. в г. Белополье (ныне Сумская область Украины).

Брат, Виталий Семенович, вспоминал, что отец, Семен Григорьевич, работал в железнодорожных мастерских (мастер-моляр). Сиротское детство наложило на характер отца свой след: «он всегда был немного замкнутым, скорее молчаливым, с небольшим налетом грусти».¹ Родился Семен Григорьевич в Харькове, где говорили на самом красивом русском языке.

Мать, Татьяна Михайловна, «и подавно не знала “украинской мовы” – ее родные были выходцы из Орловской губ.»² «Ее отец, Михаил Дергачев, служил небольшим чиновником в Крюковском интендантстве и имел в Крюкове довольно приличный дом. Мать происходила из дворян, но из обедневшей дворянской семьи».³

В семье С. Г. Макаренко было четверо детей: старшая дочь Александра, старший сын Антон, младший – Виталий и младшая дочь Наташа, которая умерла в детском возрасте от тяжелой болезни. Татьяна Михайловна была заботливой матерью и хозяйкой.

Виталий Макаренко признавался, что семья была патриархальной, как и большинство семей в ту эпоху. «Отец каждое утро и каждый вечер совершал перед иконой короткую молитву. В Белополье он даже был церковным старостой. Характеры у родителей были разные, но спокойные и у отца, и у матери. Мама была шутница, вся пронизана украинским юмором, подмечавшим у людей смешные стороны».⁴

Семен Григорьевич свободно писал, выписывал газету и журнал «Нива». Приложения к журналу содержал в строгом порядке; «здесь были полные собрания сочинений А. Чехова, Данилевского, Короленко, Куприна, а из иностранных писателей... Бьернстерне Бьернсон, С. Лагерлеф, Мопассан, Сервантес и др.»⁵

Старшего сына Антона отец научил читать в пять лет. Виталий Семенович в своих воспоминаниях подчеркивал, что Антон «обладал колоссальной памятью, и его способность ассимиляции была, прямо, неограниченна. Без преувеличения можно сказать, что в то время он, конечно, в Крюкове был самым образованным человеком на все 10 тысяч населения».⁶ Читал

¹ На разных берегах... Судьба братьев Макаренко / Составление и комментарии Г. Хиллига. – М.: Издательский центр «Витязь», 1998. С. 24.

² Там же. С. 167.

³ На разных берегах... С. 25.

⁴ Там же. С. 29.

⁵ Там же. С. 25.

⁶ Там же. С. 31.

книги по философии, социологии, астрономии, естествознанию, художественной критике, «но, конечно, больше всего он читал художественные произведения, где прочел буквально все, начиная от Гомера и кончая Гамсуном и Максимом Горьким».⁷

По признанию брата, Антон Семенович особенно увлекался русской историей. Виталию Семеновичу запомнились имена известных историков: Ключевского, Платонова, Костомарова, Милюкова; читал «Историю Украины» Грушевского, книги Шильдера «Александр I», «Николай I».

Из всеобщей истории, вспоминал Виталий, его интересовала история Рима («он прочитал всех древних римских историков»), а также история французской революции, «по которой он прочел несколько трудов, из них довольно солидный в 3-х томах, перевод с французского (“Французская революция”) – имя автора я не запомнил».⁸

По количеству прочитанных юным Антоном книг, отмечал Виталий, далее шла философия («особенно увлекался Ницше и Шопенгауэром»). «Большое впечатление на него также произвели произведения В. Соловьева и Э. Ренара и книга Отто Вайнингера «Пол и характер». Появление этой последней книги в то время было настоящим литературным событием».⁹ Читал буквально все, что появлялось на книжном рынке из художественной литературы. «Бесспорными “кумирами” этой эпохи были Максим Горький и Леонид Андреев, и из иностранных писателей – Кнут Гамсун. Затем последовали Куприн, Вересаев, Чириков, Скиталец, Серафимович, Арцыбашев, Сологуб, Мережковский, Аверченко, Найденов, Сургучев, Тэффи и др. Из поэтов А. Блок, Брюсов, Бальмонт, Фофанов, Гиппиус, Городецкий и др. Из иностранных авторов, кроме Гамсуна, назову: Г. Ибсен, А. Стриндберг, О. Уайльд, Д. Лондон, Г. Гауптман, Б. Келлерман, Г. Д’Аннунцио, А. Франс, М. Метерлинк, Э. Ростан и многие другие».¹⁰ «Антон читал внимательно, поразительно быстро, не пропуская ничего, и спорить с ним о литературе было совершенно бесполезно». Не пропускал сборники «Знание», «Шиповник», «Альциона», выписывал журнал «Русское богатство», петербургский сатирический журнал «Сатирикон» и московскую газету «Русское слово», покупал иллюстрированные журналы «Столица и усадьба», «Мир искусства». Книги и сборники не хранил, «вся библиотека Антона состояла из 8 томов Ключевского – «Курс русской истории», и 22 томов «Большой энциклопедии», которую он купил в кредит в 1913 г.».¹¹

В 1901 г. семья С. Г. Макаренко переехала в Крюков. В 1904 г. старший сын Антон с отличием окончил Кременчугское 4-классное городское училище, а в 1905 г. – педагогические курсы при нем. А с 17 лет он работал учителем сначала Крюковского 2-классного железнодорожного начального училища, затем железнодорожного училища на станции Долинская (1911–1914 гг.).

Работу А. С. Макаренко в Долинском железнодорожном училище наблюдал народный учитель Л. Степанченко. Он вспоминал: «А. С. Макаренко был всего тремя годами старше меня, но своей эрудированностью он удивлял и поначалу прямо-таки угнетал меня. (...) Обнаружив в моей голове литературный вакуум, советует мне прочесть Лескова, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Толстого Л. Н., Бальзака, Джека Лондона, Горького...». И далее: «Ученическая любовь к нему была всеобщей. И не удивительно: он все время был с детьми. Осень и весна – мяч, городки, канат-перетяжка. Веселье, смех, и бодрость! И всюду он организующий,

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ На разных берегах... С. 31.

¹⁰ Там же. С. 32.

¹¹ Там же.

веселящийся вместе с ребятами. Зима – ученические вечера: интересные, красочно оформленные, с массой участников».¹²

В 1914 г. в 27-летнем возрасте А. С. Макаренко поступил в Полтавский учительский институт. В октябре 1916 г. был призван в армию и рядовым направлен в Киев. Весной 1917 г. его сняли с военного учета из-за близорукости. В том же году он окончил учительский институт с золотой медалью, а с 9 сентября 1917 г. недолго преподавал в образцовом училище при Полтавском институте. После революции А. С. Макаренко возглавил Крюковское железнодорожное училище.

С приходом в 1919 г. в Крюков армии Деникина Антон Семенович вернулся в Полтаву, где получил должность заведующего вторым городским начальным училищем имени Куракина. С осени 1919 г. А. С. Макаренко являлся членом правления городского профсоюза учителей русских школ, избирался заместителем начальника отдела трудовых колоний при Полтавском губнаробразе.

События Гражданской войны коснулись и семьи Макаренко. Отец умер еще в 1916 г., а брат Виталий, поручик, вынужден был эмигрировать (без жены и ребенка) в 1920 г. Решение А. С. Макаренко поменять работу с обычными детьми на работу с несовершеннолетними правонарушителями, возможно, было вызвано сложными семейными проблемами. Антон Семенович приступил к работе в колонии в местечке Трибы в 6 км от Полтавы.

Некоторое время (с 1922 г.) братья переписывались. В. С. Макаренко по памяти (письма сгорели) восстановил одно из писем Антона Семеновича: «... Мама живет у меня. Она очень грустит по тебе и называет меня иногда Витей. Она постарела, но еще очень бодра и сейчас читает уже 3-й том “Войны и мира” Толстого...”. “... После твоего ухода наш дом был разграблен, то, что называется до нитки. Не только унесли мебель, но даже забрали дрова и уголь в сарае...”. “... Я страшно жалею, что ты не со мной. У нас очень много мешан и до ужаса мало энтузиастов...”. “...Я думаю, что тебе рано еще возвращаться на родину. Разбушевавшееся море еще не совсем успокоилось...”».¹³

Итак, в 1920 г. А. С. Макаренко принял руководство детским домом для несовершеннолетних правонарушителей под Полтавой, позже получившим название детской трудовой колонии им. М. Горького (1920–1928 гг.). Этот период его жизни и деятельности изображен в «Педагогической поэме». Первую часть «Поэмы» («Горьковской истории») он начал писать в 1925 г. С этого года Антон Семенович и его колонисты переписывались со своим шефом Алексеем Максимовичем Горьким.

Еще после окончания Полтавского учительского института А. С. Макаренко сделал попытку поступить в Московский университет, но ему, как уже получавшему государственную стипендию, в этом было отказано (надо было отработать положенный срок). В 1922 г. Антон Семенович осуществил свою мечту и стал студентом Московского Центрального института организаторов народного просвещения им. Е. А. Литкенса. Неиссякаемая жажда знаний преследовала педагога всю жизнь. Вот что он писал в то время в документе «Вместо коллоквиума»:

«... *История* – мой любимый предмет. Почти на память знаю Ключевского и Покровского. Несколько раз прочитывал Соловьева. Хорошо знаком с монографиями Костомарова и Павлова-Сильванского. Нерусскую историю знаю по трудам Виппера, Аландского, Петрушевского, Кареева. Вообще говоря, вся литература по истории, имеющаяся на русском языке, мне известна. Специально интересуюсь феодализмом во всех его исторических и социологических проявлениях. Прекрасно знаком с эпохой Великой французской революции. Гомеровскую Грецию знаю после штудирования Илиады и Одиссеи.

¹² Степанченко Л. Антон Семенович Макаренко в моей жизни // Жизнь и педагогическая деятельность А. С. Макаренко в дореволюционной России. Серия «Неизвестный Макаренко». Вып. 7. / Составитель и автор вступительной статьи С. С. Невская. – М.: НИИ Семьи, 1988. С. 21–22, 26–27.

¹³ На разных берегах... С. 63.

По социологии, кроме социологических этюдов указанных исторических писателей, знаком со специальными трудами Спенсера, М. Ковалевского и Денграфа, а также с Ф. де Куланжем и де Роберти. Из социологии лучше всего известны исследования о происхождении религии, о феодализме.

В области *политической экономики и истории социализма* штудировал Туган-Барановского и Железнова. Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслоу, Ленина.

По политическим убеждениям – беспартийный. Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм. (Курсивом выделен текст, не вошедший в Педагогические сочинения А. С. Макаренко. – С. Н.)

Логику знаю очень хорошо по Челпанову, Минто и Троицкому.

Читал все, что имеется на русском языке, *по психологии*. В колонии сам организовал кабинет психологических наблюдений и эксперимента, но глубоко убежден в том, что науку психологию нужно создавать сначала.

Самым ценным, что было до сих пор сделано в психологии, считаю работы Петражицкого. Читал многие его сочинения, но «Очерки теории права» не удалось прочесть.

Индивидуальную психологию считаю не существующей – в этом больше всего убедила меня судьба нашего Лазурского. Независимо от вышеизложенного, люблю психологию, считаю, что ей принадлежит будущее.

С философией знаком очень несистематично. Читал Локка, «Критику чистого разума» [Канта], Шопенгауэра, Штирнера, Ницше и Бергсона. Из русских очень добросовестно изучил Соловьева. О Гегеле знаю по изложениям.

Люблю изящную *литературу*. Больше всего почитаю Шекспира, Пушкина, Достоевского, Гамсуна. Чувствую огромную силу Толстого, но не люблю, терпеть не могу Диккенса. Из новейшей литературы знаю и понимаю Горького и Ал. Н. Толстого. В области литературных образов много приходилось думать, и поэтому мне удалось самостоятельно установить их оценку и произвести сопоставление. В Полтаве пришлось довольно удачно поработать над составлением вопросника к отдельным произведениям литературы. Я думаю, что обладаю способностями (небольшими) литературного критика.

О своей специальной области – *педагогике* много читал и много думал. В Учительском институте золотую медаль получил за большое сочинение «Кризис современной педагогики», над которым работал 6 месяцев».¹⁴

11 ноября 1922 г. А. С. Макаренко-студент выступает с докладом «Гегель и Фейербах», а 27 ноября пишет заявление: «Вследствие полученных мною сообщений от воспитанников и воспитателей Полтавской трудовой колонии для морально-дефективных, которую я организовал и вел в течение двух лет, я считаю себя обязанным немедленно возвратиться в колонию, чтобы вовремя остановить процесс распада колонии. О моем возвращении телеграфировал мне и Губсоцвос...».

Таким образом, учиться пришлось только с 14 октября по 27 ноября. Из-за разлада в колонии им. М. Горького Антон Семенович оставил учебу и вернулся в Полтаву. Педагогу не только удалось наладить жизнь колонии, но и превратить ее в образцовую. В 1926 г. колония им. М. Горького была переведена в Куряж (под Харьковом).

¹⁴ Воспитание гражданина в педагогике А. С. Макаренко: В 2 ч. / Автор монографии, примечаний, редактор-составитель С. С. Невская – М.: Академический Проект, Альма Матер. 2006. Ч.2. С. 443–445.

С 1927 г. А. С. Макаренко совмещал работу в колонии с организацией детской трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. В 1928 г. он вынужден был уйти из колонии им. М. Горького. До 1932 г. Макаренко являлся заведующим, а с 1932 по 1935 гг. – начальником педагогической части коммуны им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1934 г. А. С. Макаренко был принят в Союз писателей. В 1932–1936 гг. при поддержке М. Горького были изданы художественные произведения А. С. Макаренко: «Марш 30 года», «Педагогическая поэма», пьеса «Мажор».

Летом 1935 г. Антона Семеновича отозвали из коммуны в Киев, назначив заместителем начальника Отдела трудовых колоний НКВД Украины, где он руководил учебно-воспитательной частью. Но и в новой должности педагог взял на себя (по совместительству) руководство колонией несовершеннолетних правонарушителей № 5 в Броварах под Киевом.

В начале 1937 г. А. С. Макаренко переехал в Москву, посвятив себя литературной и общественно-педагогической деятельности. В 1937–1939 гг. были опубликованы его произведения: «Книга для родителей» (ж. «Красная новь», 1937, № 710), повесть «Честь» (ж. «Октябрь», 1937, № 11–12, 1938, № 56), «Флаги на башнях» («Красная новь», 1938, № 6,7,8), статьи, очерки, рецензии и т. д.

30 января 1939 г. А. С. Макаренко был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся успехи и достижения в области развития советской художественной литературы».

1 апреля 1939 г. Антон Семенович Макаренко скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Перестало биться сердце непревзойденного педагога-мастера, тончайшего психолога, талантливого писателя, сценариста, драматурга, литературного критика.

За свою недолгую жизнь А. С. Макаренко совершил главный свой подвиг: он дал путевку в жизнь бывшим несовершеннолетним правонарушителям, воспитал их, приобщил к культуре, дал образование, научил быть счастливыми! Он стал им отцом!

Еще при жизни Антона Семеновича представители педагогического «Олимпа», наблюдая за его питомцами, говорили: «Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы возьмите настоящих беспризорных!»

На подобные реплики педагог отвечал: «До того все перевернулось в этих головах, что пьянство, воровство и дебош в детском учреждении они уже стали считать признаками успеха воспитательной работы и заслугой ее руководителей... То, что являлось прямым результатом разума, практичности, простой любви к детям, наконец, результатом многих усилий и моего собственного каторжного труда, то, что должно было ошеломляюще убедительным образом вытекать из правильности организации и доказывать эту правильность, – все это объявлялось просто не существующим. Правильно организованный детский коллектив, очевидно, представлялся таким невозможным чудом, что в него просто не верили, даже когда наблюдали его в живой действительности... Коротко я отметил в своем сознании, что по всем признакам у меня нет никакой надежды убедить олимпийцев в моей правоте. Теперь уже было ясно, что чем более блестящи будут успехи колонии и коммуны, тем ярче будет вражда и ненависть ко мне и к моему делу. Во всяком случае, я понял, что моя ставка на аргументацию опытом была бита: опыт объявлялся не только не существующим, но и невозможным в реальной действительности».

Эти строки взяты из рукописи 14-й главы третьей части «Педагогической поэмы», но, как и другие высказывания, реплики, сценки и даже целые главы, при первых изданиях книги были исключены и восстановлены только в новом издании 2003 г. А. С. Макаренко писал: «Это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее, представляется мне чем-то “священным”».

До появления в печати «Поэмы» он успел опубликовать «Марш 30 года» и написать повесть «ФД 1», которая при его жизни не была опубликована и, в связи с этим, частично была потеряна. Первый редактор Антона Семеновича Юрий Лукин писал: «“Марш 30-го года” был своего рода литературным экспериментом А. С. Макаренко. После того, как этот опыт увенчался неожиданным для скромного автора успехом, создается новая, тоже экспериментальная в этом же смысле работа “ФД 1”... Книга “ФД 1” не была издана в то время. Рукопись ее, к сожалению, уцелела лишь частично... Это примерно половина рукописи. “ФД 1”, по сути, продолжает повествование “Марша 30-го года”. Здесь показан новый этап в трудовом воспитании коммунаров, точнее говоря – переход от воспитания трудового к производственному».¹⁵

История создания «Педагогической поэмы»

«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко создавалась 10 лет. Началом работы над книгой сам Антон Семенович называл 1925 г. Однако писать приходилось в редкие минуты отдыха. Педагог был не просто руководителем колонии им. М. Горького. Он – ее создатель, мозг, душа! Колонисты между собой называли своего завкола «Антон». Соратник и друг Макаренко К. С. Кононенко вспоминал, что, поступив на работу в коммуну имени Дзержинского в марте 1932 г., не застал там Макаренко (тот был в отпуске). Но именно его отсутствие особенно резко дало понять значимость А. С. Макаренко для коммуны. Именем «Антон» был насыщен воздух коммуны, везде и по всякому поводу произносили это слово. «И было в этом что-то такое, что невольно обращало на себя внимание... Здесь в слове “Антон” было что-то неизмеримо большее... было столько уважения, безыскусственной восторженности, столько теплоты...».¹⁶ Так было в коммуне в 1930-е гг., но так было и в колонии в 1920-е гг.: сыновья любовь, уважение, восторженность. Колонисты видели в нем отца – строгого, требовательного и справедливого.

В 1927 г. в жизни А. С. Макаренко произошли резкие перемены. Его педагогическая система не устраивала педагогический «Олимп», но он категорически отказался от каких бы то ни было перемен в своей работе. Именно в это сложное для него время пришло решение создать свою семью. Встреча с Галиной Стахивной Салько перевернула всю его жизнь: она стала в те трудные годы его путеводной звездой, его музой. Они познакомились, когда Галине Стахивне было 34 года, а Антону Семеновичу – 39 лет. Г. С. Салько – председатель комиссии по делам несовершеннолетних Харьковского окрисполкома. А. С. Макаренко полюбил эту женщину, полностью ей доверял. В самый трудный (потерял колонию) и счастливый (полюбил) год своей жизни писал «своей музе» письма о своей любви, о своих тревогах и планах. Так, 3 октября 1928 г. он признавался:

«... Я думаю о том, как по неожиданному, какому-то новому закону в моей жизни случились две огромные вещи: я полюбил Вас и я потерял колонию Горького. Об этих двух вещах я думаю очень много и напряженно. Мне хочется, чтобы моя жизнь продолжала вертеться вокруг новой таинственной оси, как она вертится вот уже второй год.

Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Дело тут не в том, что я потерпел неудачу или удачу. Удачи и неудачи в моей жизни и раньше бывали, но они были логичны, были связаны стальными тяжами со всеми имеющимися законами жизни и, особенно, с моими собственными законами и привычками. Я привык стоять на твердой позиции твердого человека, знающего себе цену, и цену своему делу, и цену каждой шавке, которая на это дело лает... Мне казалось, что в моей жизни заключена самая веселая, самая умная, самая общественно ценная философия настоящего человека.

¹⁵ Лукин Ю. А. С. Макаренко. – М.: Советский писатель, 1954. С. 54–55.

¹⁶ Свидетельства искренней дружбы: Воспоминания К. С. Кононенко о А. С. Макаренко. – Марбург, 1997. С.2.

Сколько годов создавалась эта моя история? Я уже успел приблизиться к старости, я был глубоко убежден, что нашел самую совершенную форму внутренней свободы и внутренней силы, силы при этом совершенно неуязвимой во всем великолепии своего спокойствия.

А вот пришел 27 год, и все в какие-нибудь две недели полетело прахом».¹⁷

Заботливое отношение А. С. Макаренко к Г. С. Салько и ее сыну Леве отразилось в переписке. В письме от 10 октября 1928 г. он решительно настаивал доверить ему сына: «Говорю прямо: Леву нужно взять из его теперешнего окружения, иначе из него выйдет полуграмотный дилетант и советский чиновник, ко всему относящийся с ни к чему не обязывающей иронией. Разве это не так? Что Лева может потерять в коммуне? Самое опасное, о чем можно было бы говорить – это образование. Но какое? Не то ли, какое дается в наших семилетках? Мы дадим ему совершенно новый и интересный мир: производства, машины, умения, ловкости и уверенности. В области грамотности, простите, Солнышко, но наша теперешняя пятая группа, куда попадет Лева, гораздо грамотнее его, я сужу по его письмам... Одним словом, я Леву забираю и кончено...»¹⁸

В июле 1927 г. Галина Стахивна подарила Антону Семеновичу свою фотографию (фото 1914 г.). А. С. Макаренко заключил фотографию в рамку, а на обороте сделал следующую надпись: «Бывает так с человеком: живет, живет на свете человек и так привыкает к земной жизни, что впереди уже ничего не видит, кроме Земли. И вдруг он находит... месяц. Вот такой, как “на обороте сего”. Месяц, со спокойным удивлением взирающий и на Человека и на Землю. Ясному месяцу посылает человек новый привет, совсем не такой, какие бывают на Земле. А. Макаренко. 5/7 1927». Эта фотография стояла на его письменном столе.

А через пять дней Антон Семенович пишет письмо, в котором раскрывает близкому человеку свой внутренний мир, который всегда оберегал от других, следуя словам любимого поэта Тютчева «молчи, скрывайся и таи и мысли и мечты свои»:

«Сейчас 11 часов. Я прогнал последнего охотника использовать мои педагогические таланты, и одинокий вступаю в храм моей тайны. В храме жертвенник, на котором я хочу распластать весь мир. Да, именно весь мир. Если Вы читали ученые книги, Вы должны знать, что мир очень удобно вмещается в каждом отдельном сознании. Будьте добры, не думайте, что такой мир – очень мало. Мой мир в несколько мириадов раз больше вселенной Фламариона и, кроме того, в нем отсутствуют многие ненужные вещи фламарионовского мира, как то: африканский материк, звезда Сириус, или альфа Большого Пса, всякие горы и горообразования, камни и грунты, Ледовитый океан и многое другое. И зато в моем мире есть множество таких предметов, которые ни один астроном не поймает и не изменит при помощи самых лучших своих трубок и стеклышек...»¹⁹

Заканчивается письмо такими словами:

«Я еще знаю, что мне не дано изобретать закон моей любви, что я во власти ее стихии и что я должен покориться. И я знаю, что сумею благоговейно нести крест своего чувства, что я сумею торжественно истлеть и исчезнуть со всеми своими талантами и принципами, что я сумею бережно похоронить в вечности свою личность и свою любовь. Может быть, для этого нужно говорить и говорить, а может быть, забиться в угол и молчать, а может быть, разогнавшись, расшибиться о каменную стенку Соцвоса, а может быть, просто жить. “Все благо”. Но что я непременно обязан делать – это благодарить Вас за то, что Вы живете на свете, и за то, что Вы не прошли мимо случайности – меня. За то, что Вы украсили мою жизнь смятением и

¹⁷ Ты научила меня плакать... (переписка А. С. Макаренко с женой. 1927–1939). В 2 т. – Т. 1 / Составление и комментарии Г. Хиллига и С. Невской. – М.: Издательский центр «Витязь», 1994. С. 120–122.

¹⁸ Там же. С. 137.

¹⁹ Ты научила меня плакать... С. 17–20.

величием, покорностью и взлетом. За то, что позволили мне взойти на гору и посмотреть на мир. Мир оказался прекрасным».²⁰

В другом письме Антон Семенович делает еще одно признание, открывая и обнажая свой внутренний мир:

«Каждое слово, сказанное сейчас или написанное, кажется мне кошунством, но молчать и смотреть в черную глубину одиночества невыносимо. Каждое мгновение сегодня – одиночество. (...) Я стою перед созданным мною в семилетнем напряжении моим миром, как перед ненужной игрушкой. Здесь столько своего, что нет сил отбросить ее, но она вдруг сломана, и для меня не нужно уже ее поправить.

Сегодня я не узнаю себя в колонии. У меня нет простоты и искренности рабочего движения – я хожу посреди ребят со своей тайной, и я понимаю, что она дороже для меня, чем они, чем все то, что я строил в течение семи лет. Я как гость в колонии.

Я всегда был реалистом. И сейчас я трезво сознаю, что мой колонийский период нужно окончить, потому что я выкован кем-то наново. Мне нужно перестроить свою жизнь так, чтобы я не чувствовал себя изменником самому себе...»²¹

В своих откровенных письмах-исповедях А. С. Макаренко не только раскрывает душу и сердце, он передает в них свой «благоговейный трепет перед даром судьбы»: неожиданным счастьем любить и быть любимым. С этого момента Антон Семенович будет утверждать, что человека нужно воспитывать счастливым, это счастье (ответственность за свое и чужое счастье) в руках каждого человека.

Через десять месяцев – май 1928 г. – горьковский период его жизни разобьется о «каменную стену» соцвеса. В письме (в ночь с 12 на 13 мая) Галине Стахивне Антон Семенович сообщает: «Сейчас только закончился педсовет, на котором я объявил о моем уходе. Решили, что наш педсовет своего кандидата в заведующие не оставляет. Вообще большинство, вероятно, уйдет в ближайшие месяцы. Я собственно собрал педсовет для того, чтобы установить общую тактику по отношению к воспитанникам. Хочу, чтобы мой уход прошел безболезненно. Прежде всего нужно добиться, чтобы никаких ходатайств или депутатий о моем возвращении не было. Эта пошлость повела бы только к новым оскорблениям меня и колонии. Настроение у наших педагогов даже не подавленное, а просто шальное, тем не менее, все единодушно одобряют мое решение, всем очевидно, что другого решения быть не могло».²²

В это сложное время А. С. Макаренко поделился своими писательскими мечтами с Г. С. Салько: «Вообще: писать книгу, то только такую, чтобы сразу стать в центре общественного внимания, завертеть вокруг себя человеческую мысль и самому сказать нужное сильное слово». Эти слова оказались пророческими – рождается поэма всей его жизни!

Итак, цель была поставлена высокая, но путь к ней оказался долгим и тернистым.

В общем плане «Педагогической поэмы», составленном в 1930–1931 гг., А. С. Макаренко указал, что фоном для предполагаемых 4-х частей книги является развитие русской революции.

На фоне первой части планировалось отразить «последние громы гражданской войны. Бандитизм, махновщина, догорающие остатки старого мещанства и старой интеллигенции, пафос победы и разрушения...»²³ Вторая часть – период первого нэпа: «открытые магазины и витрины. Водка. Заработки рабочих и оздоровление крестьянства. Крестьяне строятся. Крестьянские свадьбы. Пахнет чем-то дореволюционным...». Фон третьей части: «Время пра-

²⁰ Там же.

²¹ Там же. С. 21–22.

²² Ты научила меня плакать... С. 66–67.

²³ Макаренко А. С. Педагогическая поэма / Сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. – М.: ИТРК, 2003. С. 686.

вых и левых уклонов и оппозиций. Время новых кризисов и испытаний, время постепенной, медленной гибели от задушения всяких нэпманов и частников, время многообразной растерянности и непонимания, куда нужно клонить голову и за кого голосовать. Время проявления всякого лакейства и разложения...». *Фон четвертой части*: «лихорадочная перестройка общественных рядов на новый пафос коллективной работы. В расширенном темпе новой стройки вносятся как раз те мотивы, на которых настаивала все время колония. Сюда относятся: коллективное соревнование, большая осведомленность коллектива о своем собственном движении, большой интерес к органическому строению коллектива, большой интерес к роли личности в коллективе и, самое главное, большой подъем и большее требование от личности. Пятилетка и индустриализация отнюдь не должны быть показаны как бесспорные величины. Как раз наоборот, многие персонажи романа могут и должны сомневаться в правильности отдельных деталей. В этой части должно быть больше новых людей, новых строителей, новых энергий и обязательно больше рабочих – все они представляют одну сторону общества, но живой остается и другая сторона – сторона безответственных вредителей-болтунов и слепых человечешек. И совершенно еще не ясно, на чьей стороне окажется победа, но совершенно ясно, что победа будет решена только качеством человеческого состава, и вся последняя часть идет под знаком пересмотра или, по крайней мере, попыток к пересмотру этого состава. Сюда входит и всякая чистка, и новые способы подбора, и новые идеи в экономике человеческого коллектива. В частности, это отражается на спорах о бирже труда, о значении профсоюза и прочее. Болтающие, разумеется, сопротивляются и в самом человеческом пересмотре они тоже принимают участие».²⁴

В общем плане к «Педагогической поэме», как в зеркале, отражена десятилетняя история молодой Страны Советов. Но на этом А. С. Макаренко не останавливается. Он дает замечательную *зарисовку развития коллектива*, который был создан силой его мысли и воли. *На фоне первой части* «в таком же хаотическом и несколько глупом порядке образуется колония правонарушителей», «образуются первые скрепы коллектива, главным образом под давлением воли и призыва, под давлением насилия». Постепенно «проглядывают первые движения нового коллектива», появляется «первая человеческая гордость». *На фоне второй части* «крепнет и богатеет, обрастает культурой коллектив колонии, восстановление кончено, мир с селянством, театр. Образование комсомола. Накапливается энергия у ребят. Слава гремит о колонии. Тесно в провинциальном захолустье, подрастают старики, выделяются рабочие, свадьбы, появились рабфаковцы. В колонии не раскол, а живое разделение на омещанившихся, стремящихся к собственному заработку и сохранивших коллективный пафос общего стремления. Поиск выхода. Мечта, остров, Запорожье, Куряж. Мечты эти не могут быть поняты болтающей интеллигенцией». *На фоне третьей главы* «внутреннее кипение энергии колонии выливается в ее широкое наступление на море разгильдяйства и грязи, то, что называется трудовым корпусом». «Внутренний пафос колонии растворяется на мелкую борьбу. Внутри себя обессиленная колония встречает удары менее стойко, чем можно было ожидать. Обилие нового анархического народа делает усилия старой части малосостоятельными, но борьба продолжается с упорством. Много всяких посещений, ревизий, сплетен, заседаний. Хозяйственная жизнь колонии идет все же своим порядком, и колония даже пускается на очень рискованные дела. Расширяются мастерские, колония готовится к приему шефа, но в это как раз время ей и наносят последний удар. Начинается отступление основной части и кадров в коммуны ГПУ». *На фоне четвертой части* линия развития коллектива колонии изображается следующим образом: «Так называемый изумрудик продолжает жить здоровой и радостной жизнью, но этот отдых для боевого коллектива уже нужно закончить. Появляются старые члены коллектива, одни из них рабочие, другие заканчивают ВУЗ. У многих из них чешутся руки для

²⁴ Макаренко А. С. Педагогическая поэма. 2003. С. 686–689.

новой большой работы. Работа коммуны освещается широкими производственными планами. Новыми “производственными” идеями в воспитании и старыми привычными симпатиями к веселой дисциплине коллектива. Коммуна должна умереть как временное мобилизационное пристанище коллектива. Роман заканчивается сборами старых и новых членов коллектива, выросшего и оздоровленного... на новую большую и трудную работу. Изумрудик остается на руках младшего коллектива и новых верующих, остается как прекрасное на память».²⁵

Вот на такой ноте завершается история развития горьковского коллектива. Однако в общем плане «Поэмы» А. С. Макаренко отмечает еще две темы: развитие лица А. (самого Макаренко) и развития лица Б. (представительница Наркомпроса Галина Стахивна Салько, с 1935 г. – Макаренко, супруга Антона Семеновича).

В конце общего плана А. С. Макаренко сделал важную пометку, завершающую описание развития лица Б. – самого Макаренко и его музы – Галины Стахивны: «Развитие этой жизни точно так же характеризуется преобладанием и силой мажорных тонов, презрением к пустомелям и верой в будущего человека и его жизнь... Ее любовь к А. – это не только любовь к мужчине, но и целая система гармонического мироощущения. Вот почему в последней части нет двух жизней, а есть одна сверкающая гармония двух людей, представляющих целое, единственное живое целое, ценное на Земле. Эта мысль о великом значении пары людей есть мысль о новой семье, о новом человеке, о новом элементе человеческого коллектива. Эта мысль должна оттеняться рисунком еще двух-трех человеческих культурных пар, способных понять в каждом своем движении, что счастье людей не должно исключать счастья и благополучия человечества».²⁶

Известно, что в «Педагогической поэме» отсутствует личная тема: нет развития лица А. и лица Б. Тем не менее А. С. Макаренко вернулся к этому плану в 1938–1939 гг., когда писал новый роман «Пути поколения», который остался незавершенным. В общем плане педагог отразил главное – свое отношение к рождающемуся новому обществу, которое он олицетворяет с коллективом колонии им. М. Горького, то есть тем самым «изумрудиком» – первым ростком нового гуманного общества. Путь к этому новому обществу, к новому человеку-гражданину лежит долгий и трудный, требующий «глубокого сознания длительности постройки человеческой культуры», «человеческого разума, количества и качества «работающих коллективов», «перестройкой представлений о мире, основанной на неожиданно новой теме ценности личности в ценном коллективе».²⁷ И что удивительно, Макаренко вручает этот «изумрудик» в руки младшего коллектива как «прекрасное на память». Не есть ли это признание свидетельством того, что время для коммунистического общества еще не наступило?!

А. С. Макаренко самозабвенно, жертвуя отпуском, кратковременным отдыхом, чаще всего урывками между делами, под ребячий гомон, в походах, в поездках, по ночам писал горьковскую историю, историю трудового воспитательного коллектива – первого ростка гуманного общества. Результатом явилось удивительно цельное художественное полотно, своего рода гимн человеческому разуму, воле, уму, доброте!

Появлению в печати «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко обязан А. М. Горькому. Без Алексея Максимовича, его моральной и материальной поддержки, требовательности не появились бы вторая и третья части «Поэмы».

Заочное знакомство колонистов-горьковцев и А. С. Макаренко с А. М. Горьким произошла летом 1925 г.

А. С. Макаренко отправил 8 июля 1925 г. письмо в Италию. Письмо без точного адреса дошло до Алексея Максимовича. Началась заочная дружба колонистов с Горьким. Они души

²⁵ Макаренко А. С. Педагогическая поэма. 2003. С. 686–690.

²⁶ Там же. С. 690.

²⁷ Там же. С. 689.

не чаяли в своем шефе, считали писателя своим самым большим другом, приглашали в гости, писали искренние письма, почти наизусть знали его произведения. Алексей Максимович тоже знал о них все по их подробным письмам и фотографиям. Так, например, М. П. Хрущ сообщил о трагедии: был убит Кондратьев. Об этом событии колонисты рассказали с такими подробностями, что можно только удивляться, как это письмо (как, впрочем, и другие) могла «дойти» до Горького. А что же пережил Антон Семенович от этой и других трагедий внутри колонии?! Вспоминая тяжелые события того времени, он писал: «Да. Есть еще трагедии в мире и еще очень далеко до ослепительной свободы совершенного человеческого общества... А я должен сделать не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека, а наробразовские идеалисты требуют не меньше как «человека-коммуниста». Из чего? Из Аркадия Ужикова? С малых лет Аркадий Ужиков валяется на большой дороге, и все колесницы истории и географии прошли по нем коваными колесами...» («Педагогическая поэма», часть третья.)

Трагические «события» в колонии совпали с назначением А. С. Макаренко 20 октября 1927 г. на должность заведующего Детской трудовой коммуной им. Ф. Э. Дзержинского ГПУ УССР. 50 мальчиков и 10 девочек из колонии были переведены в коммуну 25–28 декабря. Они стали ядром коллектива дзержинцев. Официально открытие коммуны состоялось 29 декабря – день десятилетия ВЧК-ОГПУ.

Для Макаренко смыслом жизни и главной целью были его воспитанники, борьба за человеческое в каждом из них. Ему в высшей степени были свойственны великая любовь к Человеку, вера в его созидательные силы и оптимизм.

Июнь 1928 г. прошел в колонии под знаком ожидания приезда Горького. А. С. Макаренко сообщал писателю, что и думы, и разговоры, и работа направлены только на то, чтобы Алексей Максимович увидел эту работу и жизнь горьковцев.

Встреча А. С. Макаренко и его воспитанников с А. М. Горьким в макаренковедении освещена подробно. Однако мало кому известно, что до конца своей жизни Алексей Максимович поддерживал педагога-писателя, высоко оценивал его педагогическое подвижничество. Достаточно только перелистать страницы его писем к разным адресатам, чтобы убедиться в этом. Например, 9 апреля 1927 г. он писал жившему в эмиграции Далмату Александровичу Лутохину:

«Под Харьковом существует колония имени Вашего покорного слуги, в ней 350 “социально опасных” подростков, они обладают тысячью десятин земли, у них беркширы, свиньи – 70 ш [тук], 30 коров, – теперь уже больше, птица, овцы, лошади и т. д. Я говорю они обладают, ибо действительными и полными хозяевами колонии являются 24 выборных колониста, начальствующих отрядами: сельскохозяйств [венным], кузнечным и слесарным, портняжным, сапожным, скотоводным и т. д. Есть даже свой оркестр, а капельмейстер – девица, кажется, б [ывшая] воровка. В руках этих 24-х все ключи и вся работа. Вновь присылаемых не спрашивают, за что они осуждены, и о прошлом, вообще, не принято разговаривать, так что оно быстро забывается. Каждый – почти – месяц я получаю 24 письма – в одном пакете – от начальников отрядов, в письмах они мне рассказывают, как у них идет работа, чего они хотят, чего уже достигли. За шесть лет бытия колонии уже десятка два, три колонистов ушли в рабфак, в сельскохозяйств [яйственные] институты. И вот по этим письмам я вижу, с какой невероятной быстротой развивается наша молодежь, – “подпорченная”, заметьте! Это – удивительно. Руководит колонией такой же героический человек, каков Виктор Ник [олаевич] Сорин “Республики Шкид”. Его фамилия – Макаренко. Изумительной энергии человек».²⁸

В роковой для Макаренко 1928 г. А. М. Горький проявил максимум внимания и заботы к его судьбе. В письме П. Н. Крючкову 5 декабря он писал: «Прилагаю мое письмо Погребин-

²⁸ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким. Академ. издание / Под ред. Г. Хиллига при участии С. С. Невской, Марбург, 1990. С. 152–153.

скому вместе с письмом Макаренко, которое Вы прочитаете. Прошу Вас лично поговорить с П., а если этого мало, попросите Ек. Пав. побеседовать с Г. Г. Ягодой. Разрушением колонии очень огорчен».²⁹

С 1928 г. Горький оказывает систематическую помощь Макаренко. Так, 6 декабря он сообщает А. Б. Халатову: «А Куряжская колония имени Горького – разрушается, убрали из нее заведующего, Макаренко, и ребята, которые получше, «разбредлись разное». Инициатором сего прелестного поступка является Украинский соцвос. С изумительной педагогической проницательностью четырем сотням воришек, бродяг, маленьких проституток было заявлено: “Вас эксплуатировали, теперь Вас будут учить”. После этого трудовая дисциплина удалась ко всем чертям».³⁰

22 ноября 1928 г. Макаренко написал Алексею Максимовичу, что почти закончил книгу, которая в художественной форме раскрывает «историю работы и гибели колонии, свою воспитательную систему». Книгу он назвал «Педагогическая поэма» и попросил разрешения посвятить ее Горькому. 6 декабря 1928 г. Алексей Максимович ответил ему: «За предложение посвятить мне Вашу «Педагогическую поэму» сердечно благодарю. Где Вы думаете издать ее? Советую – в Москве. Пошлите рукопись П. П. Крюкову по адресу: Москва, Госиздат. Он Вам устроит печатанье быстро и хорошо. Думаете ли Вы иллюстрировать ее снимками? Это надо бы сделать».³¹

После этого письма Антон Семенович регулярно сообщал писателю о ходе работы над «Поэмой».

Писательская деятельность и работа в коммуне подорвали здоровье А. С. Макаренко. 8 декабря 1932 г. в письме С. А. Калабалину (в «Поэме» Семен Карабанов) – бывшему колонисту и большому другу семьи Макаренко – Галина Стахивна сообщила о желании приехать с Антоном Семеновичем к нему в Ленинград, где он заведовал колонией, поздравила с Новым 1933 г. и попросила о такой помощи: написать Горькому письмо о болезни Макаренко. Просьба была немедленно выполнена. 30 января 1933 г. Горький написал Макаренко: «... Я, стороною, узнал, что Вы начинаете уставать и что Вам необходим отдых. Собственно говоря – мне самому пора бы догадаться о необходимости для Вас отдыха, ибо я, в некотором роде, шеф Ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать. 12 лет трудились Вы, и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если Вы сами не расскажете. Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение, на мой взгляд. Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу, дорогой друг мой. Я просил, чтоб из Москвы Вам выслали денег... А. Пешков».³²

Макаренко был удивлен и тронут такой заботой Горького. Антон Семенович так и не узнал о том, что по просьбе Галины Стахивны его любимец Семен Калабалин обратился к Горькому с просьбой о помощи для своего Учителя.

В письме П. П. Крюкову от 28 июля 1933 г. Макаренко сообщил о своем трудном положении и желании найти работу в Москве: «Деньги Алексея Максимовича, которые я получил от Вас, лежат у меня на моей совести, и я по-прежнему буквально падаю в этой каторжной работе и конца ей не вижу. День и ночь, без вечеров для отдыха, без выходных дней, часто без перерыва на обед, все это можно выносить, если работа дает результаты. Но время создания результатов уже минуло. Совершенно исключительный коллектив коммунаров Дзержинского сейчас сделался предметом потребления в самых разнообразных формах: то для создания капитала, то для производственного эффекта в порядке приложения разнообразного самодур-

²⁹ Архив Горького, ПГ-рл 21а—1—148.

³⁰ Там же. ПГ-рл-48—15—26.

³¹ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 66.

³² Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 75.

ства, то в виде неумных и вредных опытов. Вся моя энергия уходит на мелкие заплаты и нечеловеческие усилия сохранить хотя бы внешнюю стройность. Вы не подумайте чего: я ни с кем не ссорюсь и все мною даже довольны. Но я больше не могу растрачивать себя на пустую работу, и у меня иссякают последние силы, а самое главное, я терплю последние надежды подытожить свой опыт и написать ту книгу, необходимость которой утверждает Алексей Максимович.

Я могу отсюда уйти, но меня тащат в новые коммуны, я сейчас не в силах за них бороться, я четырнадцать лет без отдыха, отпуска. И вот я к Вам с поклоном: дайте мне работу в одном из Ваших издательств или нечто подобное. Мне нужно побывать среди культурных людей, среди книг, чтобы я мог восстановить свое человеческое лицо – а тут я могу просто запсиховать. Имейте в виду, что я человек очень работоспособный и Вы будете мною довольны, тем более, что и характер у меня хороший.

Я в начале сентября приеду в Москву, но очень прошу сейчас ответить, можете ли Вы мне помочь? Если не можете, буду искать других выходов. P.S. В Сочи буду с коммуной до 13 августа».³³

25 августа Антон Семенович писал Горькому: «Получил Ваше письмо. Поверьте, нет в моем запасе таких выразительных слов, при помощи которых я смог бы благодарить Вас. Если я вырвусь из моей каторги, я всю свою оставшуюся жизнь отдам для того, чтобы другим людям можно было вести воспитательную работу не в порядке каторги. Это очень печально: для того, чтобы воспитать человека, нужно забыть, что ты тоже человек и имеешь право на совершенствование и себя и своей работы.

Отсюда вырваться без Вашей помощи мне не удалось бы никогда.

Сейчас я выпустил 45 человек в вузы, и для моей совести сейчас легче расстаться с коллективом. Вырваться от начальства гораздо труднее, оно очень привыкло к безграничной щедрости, с которой здесь я растрачивал свои силы, растрачивал при этом не столько на дело, сколько на преодоление самых разнообразных предрассудков...».³⁴

А. С. Макаренко получил двухмесячный отпуск и в сентябре 1933 г. поехал в Москву, куда позже приедет и Галина Стахиевна – сразу же после лечения от туберкулеза горла в санатории.

В Москве состоялась встреча Макаренко с Алексеем Максимовичем. Горький прочитал «Педагогическую поэму» (первую часть) и дал положительный отзыв.

В начале 1934 г. первая часть увидела свет в альманахе «Год XVII», кн. 3 (год указали 1933); а вторая и третья части в альманахе «Год XVIII», кн. 5 и кн. 8 – в 1935 г. (в это время Антона Семеновича перевели на работу в Киев в качестве заместителя начальника трудовых колоний НКВД Украины).

По словам А. С. Макаренко, вторую, а затем третью части «Поэмы» он писал в 1934–1935 г.

В письме Горькому от 7 марта 1934 г. Антон Семенович признается: «Благодаря вашему вниманию, поддержке, а может быть, и защите моя “Педагогическая поэма” увидела свет... Для меня выход “Поэмы” – важнейшее событие в жизни... И меня очень затрудняет вопрос о том, что дальше делать с поэмой? Следует ли добиваться отдельного издания первой части, или она не стоит того, чтобы ее отдельно издавать? Отдельное издание меня интересует больше всего потому, что можно будет восстановить несколько глав и отдельных мест (всего около 4-х печатных листов), не напечатанных в альманахе за недостатком места; мне, как, вероятно, и каждому автору, кажется, что места эти очень хороши и очень нужны, что без них “Поэма” много в своей цельности теряет.

³³ Архив Горького. Кк-рл—10—2—8.

³⁴ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 75.

Писать ли вторую часть или не стоит?.. Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время горьковской колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части хочу описать сильное движение развернутого коллектива, завоевания Куряжа.

Вторая часть для меня труднее, чем первая. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой трудной задачей: описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости. Одним словом, боюсь.

Не знаю также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями по вопросам, у меня есть такой зуд, – хорошо ли это?

И еще одно затруднение. Ваш приезд – это кульминационный пункт развития коллектива горьковцев, но это и его конец. До Вашего еще приезда мне удалось спасти 60 человек в коммуне Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже на новом месте...».³⁵

14 марта Горький сообщает Антону Семеновичу, что рукопись «Поэмы» сокращена по недоразумению – «недосмотрел». И предупреждает: «Очень огорчен тем, что Вы еще не принимались работать над второй частью, и очень Вас прошу: начинайте! Первая часть хорошо удалась Вам, все, кто читал ее, читали с наслаждением и все говорят: нет конца?»³⁶

До конца своей жизни А. М. Горький поддерживает А. С. Макаренко. Петр Петрович Крючков – секретарь писателя – также оказывает немалую услугу Макаренко.

7 марта 1934 г. Антон Семенович пишет благодарственное письмо Крючкову: «Недавно получил альманах “Год XVII”. Я очень много обязан Вам в том, что моя “поэма” вышла в печати, к сожалению, не имею возможности лично поблагодарить Вас. В конце октября я заходил к Вам, но узнал, что Вы уехали в Крым, а через два дня меня вызвала коммуна в Харьков. Вторую часть “Педагогической поэмы” не начал и не знаю, когда и начну: коммуна не оставляет ни времени, ни души для литературной работы.

Нужно сейчас побывать в Москве, как-нибудь кончить дело с “поэмой”. Мне очень жаль, что из-за недостатка мест в альманахе выбросили несколько глав, по моему мнению, ценных. Говорили тогда в редакции альманаха, что эти главы будут восстановлены в отдельном издании, а я до такой степени провинциал, что толком даже не знаю, кто это будет заниматься отдельным изданием, или это я сам должен кому-то сказать об этом. А может быть, это неудобно?

На днях в Москве будет тов. Салько, моя жена, я поручил ей зайти к Вам посоветоваться. Очень прошу Вас принять ее и помочь мне как-нибудь в литературных вопросах».

В следующем письме к П. П. Крючкову Антон Семенович информирует о своих делах: «Получил письмо от Алексея Максимовича, в котором он требует, чтобы я приступил ко второй части «Педагогической поэмы». Как ни нагружен мой день, приступил, приходится работать ночью, боюсь за качество. Алексей Максимович пишет еще, что нужно издавать отдельное издание и что в этом деле поможете Вы. Простите, что я причиняю Вам столько хлопот...»³⁷

А. М. Горький не оставляет в покое Макаренко. В своих письмах (1934 г.) отмечает: «... Огорчен тем, что вторая часть “Педагогической поэмы” Вашей подвигается медленно. Мне кажется, что Вы недостаточно правильно оцениваете значение этого труда, который должен оправдать и укрепить Ваш метод воспитания детей».³⁸

Антон Семенович оправдывается:

«О второй части у меня нет ясного представления: то она кажется мне очень хорошей, то чрезвычайно слабой, ничего не стоящей. Писал я ее в ужасных условиях, во время большой

³⁵ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 77–79.

³⁶ Там же. С. 80.

³⁷ Архив Горького. Кк-рп 10—2–5.

³⁸ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 83–84.

напряженной работы в коммуне, в летнем походе коммунаров: в вагоне, на улицах городов, в передышках между торжественными маршами... Я постарался вычеркнуть все то, что бросается в глаза... но как-нибудь основательно переделать всю часть я уже потому не могу, что вся она построена по особому принципу, который я считаю правильным, но который, вероятно, плохо отобразил в своей работе над книгой.

Я очень прошу Вашего внимания к следующему:

Моя педагогическая вера: педагогика – вещь, прежде всего, диалектическая – не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным...

В первой части «ПП» я хотел показать, как я, неопытный и даже ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря основной установке: коллектив должен быть живой и создавать его могут настоящие живые люди, которые в своем напряжении и сами переделываются.

Во второй части я сознательно не ставил перед собою темы переделки человека. Переделка одного, отдельного человека, обособленного индивида, мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектичность его развития...

В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии: в массовой переделке уже не отдельных личностей, а в массе – триста курыжан... В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй части я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Кураже.

В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается «почкованием» (дзержинцы). Это моя схема...».³⁹

26 января 1935 г. Макаренко сообщает Горькому: «... Начал третью часть “Педагогической поэмы”, которую надеюсь представить к альманаху седьмому. Очень хочу, чтобы третья часть вышла самой лучшей...».⁴⁰

К концу сентября 1935 г. А. С. Макаренко закончил работу над третьей частью «Поэмы». Последними письмами Макаренко и Горький обменялись в сентябре – октябре 1935 года.

28 сентября Антон Семенович информирует Алексея Максимовича, что авиапочтой выслал третью часть «Поэмы»:

«Не знаю, конечно, какой она получилась, но писал ее с большим волнением.

Как Вы пожелали в Вашем письме по поводу второй части, я усилил все темы педагогического расхождения с Наркомпросом, это прибавило к основной теме много перцу, но главный оптимистический тон я сохранил.

Описать Ваше пребывание в Кураже я не решился, это значило бы описывать Вас, для этого у меня не хватало совершенно необходимого для этого дела профессионального нахальства. Как и мои колонисты, я люблю Вас слишком застенчиво.

Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях, меня перевели в Киев помощником начальника Отдела трудовых колоний НКВД...

Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная и неприятная, по хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали из коммуны в июне, даже не попрощался с ребятами.

Дорогой Алексей Максимович! Большая и непривычная для меня работа «Педагогическая поэма» окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что

³⁹ Там же. С. 85–88.

⁴⁰ Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 89–90.

вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы...

У меня сейчас странное ощущение. Работа окончена, но остались уже кое-какие навыки письма, кое-какая техника, привычка, к этой совершенно особенной, волнующей работе.

А в то же время я вдруг опустошился, как будто всю свою жизнь до конца выложил, нечего больше сказать.

Я очень хочу надеяться, что Вы не бросите меня в этой неожиданной пустоте...». ⁴¹

Ответ А. М. Горького был замечательным:

«Дорогой Антон Семенович – третья часть “Поэмы” кажется мне еще более ценной, чем первые две.

С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. «Соцвосовцев» Вы изобразили так, как и следует, главы: “У подошвы Олимпа” и “Помогите мальчику” – нельзя исключить.

Хорошую вы себе “душу” нажили, отлично, умело она любит и ненавидит...

Если Вас тяготит “бюрократическая” работа и Вы хотели бы освободиться от нее – давайте хлопотать. Я могу написать т. Б. или П. П. Постышеву, могу просить Ягоду, чтоб Вас возвратили к ребятам. Ну – что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю...» ⁴²

Это последнее письмо Горького к Макаренко было написано в Тессели, где в то время он жил и лечился. Письмо без даты, но условно можно указать 8 октября 1935 года.

25 октября Алексей Максимович написал благодарное письмо редактору «Поэмы» Елене Марковне Коростелевой: «Уважаемая Елена Марковна – разрешите сердечно благодарить вас за работу по чтению и правке рукописи Макаренко. Меня так утомляет чтение рукописи, что я все хуже вижу ошибки авторов. Я очень рад, что Вы так удачно почистили высокоценную работу Макаренко, и усердно прошу Вас исправить нелепости текста, отмеченные Вами. Сам я, не имея рукописи пред глазами, мог только выбросить подчеркнутое Вашей рукою, а это едва ли правильно. Будьте здоровы и еще раз – спасибо. М. Горький». ⁴³

А. М. Горький умер 18 июня 1936 года. В 1938 г. не стало П. П. Крюкова и М. С. Погребинского – людей, которые по просьбе Алексея Максимовича помогали Антону Семеновичу Макаренко. История создания «Педагогической поэмы» подошла к концу.

* * *

При жизни А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» издавалась по частям в горьковском альманахе, а также отдельными изданиями, в том числе и на украинском языке. После смерти педагога «Поэма» была опубликована в 1-м томе первого (1950–1952) и второго (1957–1958) Академических Собраний сочинений А. С. Макаренко в 7 томах. Во всех публикациях «Поэма» подвергалась цензурным и редакторским сокращениям и изменениям текста.

В 2003 г. читатель впервые смог прочитать педагогический роман-поэму в восстановленном виде. ⁴⁴ Основой для восстановления текста послужило издание «Педагогической поэмы» во втором семитомном академическом издании сочинений А. С. Макаренко (1957–1958 гг.), по которому в течение полувека переиздавалась «Поэма» и по которому она вошла в третий том Педагогических сочинений А. С. Макаренко в 8 томах (1983–1986 гг.).

⁴¹ Там же. С. 93–95.

⁴² Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким... 1990. С. 95–96.

⁴³ Архив Горького. Пг-рл 20—9—1.

⁴⁴ Макаренко А. С. Педагогическая поэма» / Сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. М.: ИТРК, 2003.

В заключение приведем первый отклик прессы на новое издание «Поэмы» (2003 г.). В 2012 г. в 10-м номере журнала «Нарконет» Лина Тархова опубликовала следующую статью-интервью с составителем.

«В нашей редакционной библиотеке появилась новая книга – “Педагогическая поэма” А. С. Макаренко. Почему мы рассказываем об этом читателям? Что это за событие – выход очередного издания известной книги?

Но это именно событие. Впервые педагогический бестселлер, как назвали бы его сегодня, издан без купюр. Увидев этот том, вы бы не узнали в нем “Поэму”: та, всем привычная, не толстая и не тонкая книга среднего объема. Этот том с трудом удерживаешь в руках, так он велик.

Неужели Макаренко, несмотря на мировую известность (его книги переведены на большинство существующих языков, только в США к 1990 г. вышло восемь изданий, в Испании – семь), урезали, сокращали, подвергали жесткой цензуре?

Принято считать, что советская власть Макаренко оценила, воздала ему должное. Однако отношения с властью великого педагога, который честно писал в автобиографии: “Политические убеждения – беспартийный”, были непростыми. Человек, сумевший сотни беспризорников, воришек и бродяг воспитать достойными гражданами, не укладывался в габариты, очерченные “педагогическим Олимпом”, как он это называл.

Чиновники “народного образования” откровенно боялись его независимости в работе, смелости и размаха. Однако замолчать педагогический подвиг Макаренко было невозможно. Власть поступила с ним хуже – превратила в идола. Интерес к живому человеку, его идеям угас. “Педагогическая поэма” продолжала издаваться, но – примечательная подробность – каждый раз с новыми сокращениями. У каждого издателя были свои страхи по отношению к Макаренко.

Реконструкция полного текста длилась много лет. В новом издании восстановленные купюры выделены курсивом. Прodelана огромная, тончайшая работа. Рассказать о ней мы попросили человека, без которого эта книга, скорее всего, не увидела бы света: доктора педагогических наук, ведущего научного сотрудника Института семьи и воспитания РАО Светлану Сергеевну Невскую.

Работа была завершена не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам – и организационным, и материальным. Институт, в котором работает Невская, без конца реформируется, меняет названия и направления, и сегодня его судьба внушает тревогу. Только чувство ответственности, свойственное истинному ученому, могло дать силы довести многолетнюю работу до финала. Невская – составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев.

– Светлана Сергеевна, насколько интересной для вас была эта работа?

– Даже для меня, макаренковеда, одним из главных открытий в ней был масштаб личности Макаренко, о котором большинство имеет очень узкое представление. Макаренко мы не понимаем, в первую очередь оттого, что не знаем. Чтобы понять, нужно до этой вершины дорасти. Смотрите – в 17 лет он стал учителем и всю жизнь учился. Великолепно знал педагогов прошлого – Песталотци, Руссо, Ушинского... В подлинниках, а не в изложении прочитал Ключевского, Костомарова, Соловьева, Петражицкого. Знал историю, социологию. Писал в автобиографии: прочитал все, что есть на русском языке по психологии.

Это был, пользуясь выражением Горького, человецище. Не знаю, что с ним стало бы, если бы он не умер в 1939 г... На грустные мысли наводит судьба его приемного сына Льва Салько. Он работал в ЦАГИ. Однажды познакомился с молодыми сотрудницами посольства США, и это в дальнейшем, после войны, стоило ему работы и званий. А он был герой, вынес знамя своей части, выходя из окружения. Но кто-то не забыл о неосторожном знакомстве. Салько

запретили работать по профессии. Его спасло то, что в колонии Макаренко он получил третий разряд токаря – токарем и стал работать. Умер молодым, не дожив до пятидесяти лет.

– **Как велась работа над реконструкцией полного текста?**

– В 1981 г. была создана группа по восстановлению всех текстов Макаренко по архивным и прижизненным источникам.⁴⁵ Возглавить группу предложили мне. Однако молодые сотрудники категорически отказывались от подобной работы. Возможно, слишком много времени требовала работа в архивах. Все годы моим единственным помощником по работе в архивах был молодой талантливый сотрудник лаборатории теории и методов воспитания, которого даже не освободили от текущей работы в лаборатории.

За основу мы взяли издание «Педагогической поэмы» 1957 г., считавшееся каноническим. Это был контрольный вариант. А дальше были подняты все сохранившиеся рукописи, рабочие документы. Работали по расклейке. Чтобы не запутаться в огромном количестве материалов, была создана специальная знаковая система. Каждый восстанавливаемый фрагмент перепроверялся по всем источникам.

Но, разумеется, эту огромную работу не смогла бы проделать только специально назначенная группа. Неоценимую помощь оказали нам ученые, уже ушедшие из жизни. Это профессор, доктор педагогических наук Игорь Александрович Невский, который высоко оценивал педагогический и человеческий подвиг Макаренко и предлагал создать международную научную лабораторию по изучению методов А. С. Макаренко. Это тогдашний президент Академии педагогических наук СССР Михаил Иванович Кондаков, главный редактор восьмитомного издания произведений Макаренко. Это академик, доктор психологических наук Василий Васильевич Давыдов, который планировал создать лабораторию по изучению наследия Макаренко в РАО.

– **Существует ли сейчас ваша группа? Ведь ее задача была восстановить все тексты Макаренко?**

– В ней осталась я одна. Огромное количество архивных документов лежит в разных точках Москвы, самое ценное – у меня дома.

– **То, что вы сделали, вызывает восхищение.**

– Эта работа – настоящая отравка. Если не любишь, не сделаешь. А надо. Сегодня ни учителя, ни студенты не хотят читать Ушинского, Макаренко, и от этого страдает наше образование.

Мне хочется полностью издать «Флаги на башне», что-то еще. Хочется вернуть Макаренко в жизнь.

А теперь – кое-что из вычеркнутого и впервые восстановленного. Комментарии, что называется, излишни.

(...) «В то самое время, когда мы мучительно искали истину и когда мы уже видели первые взмахи нового здорового хозяина-колониста, худосочный инспектор из наробраза ослепшими от чтения глазами водил по блокноту и, заикаясь, спрашивал колонистов:

– А вам объясняли, как нужно поступать?

И в ответ на молчание смущенных колонистов что-то радостно черкнул в блокноте. И через неделю прислал нам свое беспристрастное заключение: «Воспитанники работают хорошо и интересуются колонией. К сожалению, администрация колонии, уделяя много внимания хозяйству, педагогической работой не занимается. Воспитательная работа среди воспитанников не ведется».

⁴⁵ Речь идет о работе над Педагогическими сочинениями А. С. Макаренко в 8 томах (1983–1986). По требованию редакции тексты художественных произведений публиковали по изданию 1957 г.

Ведь это теперь я могу так спокойно вспомнить худосочного инспектора. А тогда приведенное заключение меня очень смутило... Я снова приступил к раздумью, к пристальным тончайшим наблюдениям, к анализу.

Жизнь нашей колонии представляла очень сложное переплетение двух стихий: с одной стороны, по мере того как развивалась колония и выросал коллектив колонистов, родились и росли новые общественно-производственные мотивации, постепенно сквозь старую и привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорника начинало проглядывать новое лицо будущего хозяина жизни; с другой стороны, мы всегда принимали новых людей, иногда чрезвычайно гнилых, иногда даже безнадежно гнилых...

Очень нередко эти пагубные влияния захватывали целую группу колонистов, чаще же бывало, что в линию развития того или другого мальчика – линию правильную и желательную – со стороны новых влияний вносились некоторые поправки. Основная линия продолжала свое развитие в прежнем направлении, но она уже не шла четко и спокойно, а все время колебалась и обращалась в сложную ломаную. Нужно было иметь много терпения и оптимистической перспективы, чтобы продолжать верить в успех найденной схемы, и не падать духом, и не сворачивать в сторону.

Дело еще и в том, что в новой революционной обстановке мы тем не менее находились под постоянным давлением старых, привычных выражений так называемого общественного мнения. И в наробразе, и в городе, и в самой колонии общие разговоры о коллективе и о коллективном воспитании позволяли в частном случае забывать именно о коллективе. На проступок отдельной личности набрасывались, как на совершенно уединенное и прежде всего индивидуальное явление, встречали этот проступок либо в колорите полной истерики, либо в стиле рождественского мальчика...

Нет, товарищ инспектор, история наша будет продолжаться в прежнем направлении. Будет продолжаться, может быть, мучительно и коряво, но это только оттого, что у нас нет еще педагогической техники. Остановка только за техникой».

«Чайкин ёрзнул на стуле и прохрипел:

– Интересно, конечно, как всякое высказывание в педагогике. Наша область такая, знаете, широкая, такая еще не разработанная, что всякая мысль интересна. Но для нас важно, в каком отношении все это стоит к принципам социального воспитания.

Я знал, что он разумел под принципами социального воспитания: это были его собственные измышления в написанной им брошюре.

– Об этом мы потом поговорим, – сказала Брейгель. – Я думаю, очень возможно – ваша система советская, но в таком случае все то, что мы там у себя думаем, никуда не годится. Вы понимаете, может быть, вы правы, а мы ошиблись?

Она смотрела на меня откровенно с насмешкой. Я ей ответил:

– Это не только возможно, это и есть на самом деле. Вы там у себя многое путаете.

– Допустим, – великодушно согласилась Брейгель. – Все это нужно рассмотреть при свете принципов социального воспитания. Здесь, конечно, мы этого делать не будем, для этого есть научпедком».

«Колония богатела, в ней рос коллектив, росли стремления, росли возможности и, самое главное, росло знание наше и наше техническое умение. Но мы были запакованы в узкие железные рамки и над нами всегда стоял Некто в сером, замахивался на нас палкой и вопил, что мы совершаем преступление, если на полсантиметра высунем нос за пределы рамки. Некто в сером назывался иначе – финотделом... Это был сущий сказочный Кощей – сухой, худой, злобный и, кроме того, принципиально бессмертный... Большие всего боясь партизанского вло-

жения его капиталов в настоящее дело, Кощей Бессмертный выдавал нам деньги полумесячными долями, и его зеленые глаза торчали над каждым нашим карманом:

– Как же это? – скрипел он. – Как же вы допускаете такое своеволие: вам дано сто пятнадцать рублей на обмундирование, а вы купили на них какие-то доски?..

– Товарищ Кощей, с обмундированием мы можем подождать, а доски – это материал, мы из него сделаем вещи, продадим и будем иметь прибыль, потому что в доски мы вложили труд, и труд будет оплачен...

– Вы не можете истратить больше, чем вам разрешено. Вам разрешено двадцать семь рублей в год на человека. Если вы получите прибыль, мы все равно сократим вашу смету.

Великий ученый и мыслитель Чарльз Дарвин! Он был бы еще более великим, если бы наблюдал нас. Он бы увидел совершенно исключительные формы приспособления, мимикрии, защитной окраски, поедания слабейших, естественного отбора и прочих явлений настоящей биологии. Он бы увидел, с какой гениальной приспособляемостью мы все-таки покупали доски и делали кое-что, как быстро и биологически совершенно мы все-таки обращали сто пятнадцать рублей в триста и покупали поэтому не бумажные костюмы, а суконные... Потом... дождавшись очередной сутолоки у Кощея Бессмертного... затаив дыхание, слушали кощевские громы, угрозы начетами и уголовной ответственности...

Заведующий колонией вообще существо недолговечное... Очень немногие выживали и продолжали ползать на соевосовских листьях, но и из них большинство предпочитали своевременно окуклиться и выйти из кокона нарядной и легкомысленной бабочкой в образе инспектора или инструктора. А таких, как я, были сущие единицы...»

«Колонисты с большой охотой пошли на производственную работу... Нам запрещалась зарплата, но и в этом вопросе мы обходили камни идеализма и тоже приспособились... В колонии завелись деньги в таком количестве, что мы получили возможность не окрашиваться в зеленый, защитный, цвет и не прятаться в листе. Мы пошли по другой биологической линии: сделали пухлой, яркой гусеницей, по всем признакам настолько ядовитой и вредной, что, увидев нас, сам Кощей Бессмертный остановился бы пораженный, чихнул, взъерошился и, отлетев в сторону, подумал бы:

– Стоит ли трогать эту гадость? Проглотишь, сам не рад будешь. Лучшие я клюну вот эту богодуховскую колонию».

Р. S. Прочитав эти тексты, понимаешь, за что не любила и почему боялась Макаренко власть. Книга, о которой мы рассказали, вышла в 2003 г. Пресса обычно пишет о новых изданиях. Но так получилось, что Большая книга дошла до нас, до редакции, только сейчас. А главное, она, судя по нашим наблюдениям, не дошла до своего главного читателя – педагогов, воспитателей, родителей. Это неправильно. И мы решили хотя бы частично ситуацию поправить». ⁴⁶

В настоящем издании восстановленные тексты выделены курсивом. В книге впервые печатается фотоочерк «Страницы жизни и педагогической деятельности А. С. Макаренко (1888–1939)».

С. С. Невская

⁴⁶ Тархова Л. Неизвестный Макаренко // Нарконет. Октябрь. № 10. 2012. С. 47–50.

Часть первая

[1] Разговор с завгубнаробразом

В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом⁴⁷ вызвал меня к себе и сказал:

– Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно... вот что твоей школе⁴⁸ дали это самое... губсовнархоз...

– Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься, – взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

– Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого – революционного. Штаны у вас навывпуск!

– У меня как раз не навывпуск.

– Ну, у тебя не навывпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек – по улице пройти нельзя, и по квартирам лезят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское... Ну?

– А что – «ну»?

– Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю – руками и ногами: зарежут, говорят, вам бы это кабинетик, книжечки... Очки вон надел.

Я рассмеялся:

– Смотрите, уже и очки помешали!

– Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы это самое: зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был не прав, этот завгубнаробразом.

– Вот послушайте меня...

– Ну, что «послушайте», что «послушайте»? Ну, что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое... как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал, – подсунили. Реформаторы... или как там, стой!.. Ага! Реформаториумы.⁴⁹ Ну, так этого у нас еще нет.

– Нет, вы послушайте меня.

– Ну, слушаю.

– Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников...

– Это не то, знаешь... До революции это не то.

– Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

– По-новому, это ты верно.

– А никто не знает – как.

– И ты не знаешь?

⁴⁷ Губнаробраз – Губернский отдел народного образования.

⁴⁸ Речь идет о втором городском начальном училище им. Куракина в г. Полтаве (школа размещалась в здании губернского отдела народного хозяйства на Соборной площади, 10; занятия проходили во второй половине дня), которым заведовал А. С. Макаренко с августа 1919 г. до перехода на работу в колонию в Трибах.

⁴⁹ Реформаториумы – детские тюрьмы, учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей.

- И я не знаю.
- А вот у меня это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают...
- А за дело браться не хотят.
- Не хотят, сволочи, это ты верно.
- А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.
- Скажут, стервы, это ты верно.
- А вы им поверите, а не мне.
- Не поверю им, скажу: было б самим браться!
- Ну, а если я и в самом деле напутаю?
- Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:
- Да что ты мне: напутаю, напутаю!.. Ну, и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я, не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание⁵⁰... Нам нужен такой человек вот... наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.
- А место есть? Здания все-таки нужны.
- Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко – верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь...
- А люди?
- А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать?
- Деньги?..
- Деньги есть. Вот получи.
- Он из ящика стола достал пачку.
- Сто пятьдесят миллионов.⁵¹ Это тебе на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна...
- И на коров?
- С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь.
- Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.
- Я уже смотрел... что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай – и все.
- Ну, добре, – сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.
- Вот это молодец! – сказал завгубнаробразом. – Действуй! Дело святое!

⁵⁰ Социальное воспитание (Соцвос) – имеется в виду концепция общественного воспитания для всех детей.

⁵¹ Сто пятьдесят миллионов – имеются в виду денежные знаки 1920 г.

[2] Бесславное начало колонии имени Горького

В шести километрах от Полтавы на песчаных холмах – гектаров двести соснового леса, а по краю леса – большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником.

В лесу поляна гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенных крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а похозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

– Почему шкаф остался? – спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

– Так что, значит, можно сказать, что шкафчик этой нашим людям без надобности. Разобрать его, – сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет – и по высоте, и поперек себя тоже.

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, *падающих в обморок при одной мысли о столярной работе*, и так еле на ногах державшихся, конь – мерин, когда-то бывший киргизом, в возрасте тридцати лет, и медный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

– Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

– Вы будете заведующий педагогической частью?

– Почему? Я заведующий колонией...

– Нет, – сказал он, вынув изо рта трубку, – вы будете заведующий педагогической частью, а я – заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана»,⁵² совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архирейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведывание хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведывал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

– Как же так, товарищ Сердюк, не может же быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:

– Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся?

– Нет, это не обязательно. Давайте, я вам буду подчиняться.

– Я педагогике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией – так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне...

Калина Иванович неблагоприятно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали:

– Я вам здесь поставив столик и кровать, какие нашлись...

– Спасибо.

– Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конечно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

– Помиримся, Калина Иванович.

– Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно представленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача – концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог примириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной⁵³ сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

⁵² Пан – в греческой мифологии бог лугов, полей, покровитель пастухов, охотников и рыболовов. А. С. Макаренко имеет в виду картину М. А. Врубеля (1856–1910) с изображением Пана, написанную художником в 1899 г. («Пан»).

⁵³ Речь идет об особой продовольственной комиссии по снабжению Первой запасной армии во время Гражданской войны.

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

– Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромец...

– Илья Муромец?

– Ну да. Был такой – Илья Муромец, – может, ты чув, – так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

– Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

– Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь.

* * *

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвящать себя воспитанию нового человека в нашем лесу – все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлись два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода – девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:

– Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

– Да я именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка – чистейшее существо, я рассчитываю на нее вроде как на прививку.

– Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо...

Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямилась почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

– С такой женщиной нужно очень осторожно поступать...

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцать лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки – «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашенные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей:

– Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию нашей дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения, – только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

– Я не знаю, как с ними разговаривать... Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой – с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь моему проникновенному соцвсовскому⁵⁴ выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

– Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

– Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю... Может быть, нужно просто уехать...

Я не знаю, какой тон здесь возможен...

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдюжину воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, – все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинные зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна – в спальне, другая – в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» – изобретение времен Кия, Щека и Хорива.⁵⁵ В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывая для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

– Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападет. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании. Задоров был из интеллигентной семьи – это было видно сразу. Он правильно говорил, его лицо отличалось той молодой холеностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза, все это с особенной мясистой подвижностью, – лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

– Ну, сказали ж вам...

⁵⁴ Соцвсовский – речь идет о «выговоре» (проникновенной речи), типичном для сотрудников соцвса (социальное воспитание).

⁵⁵ Речь идет о Кие, первом легендарном правителе г. Киева, и его братьях Щеке и Хориве. По преданию, они основали город.

Я вышел из спальни, обратив свой гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

– Пойдем снег чистить.

– Что ты! Что ж, я сюда черноробом наймался? А эти что? – кивнул он на спальни. – Соловьи-разбойники?

– Не хотят.

– Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

– Вот хорошо! – сказал весело Таранец.

– Давно бы так, – поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

– То есть как это – «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой...

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка – в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

– Придется самому за лопатой ползти!

Со смехом они ушли в город.

– Уеду отседова к черту! Чтоб я тут работал! – сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

– Рятуйте!...⁵⁶

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи.

Я выпросил у загубнаробозом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения, – они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года.

Это было время Врангеля⁵⁷ и польской войны. Врангель где-то был близко, возле Новомиргорода; совсем недалеко от нас, в Черкасах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании.⁵⁸ Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог применить к делу, а немедленный анализ и немедленное действие.

Нас властно обступал хаос мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из которых каждое способно было вдребезги разнести всю нашу мудрую педагогическую науку.

⁵⁶ *Рятуйте* (укр.) – помогите, спасите, караул.

⁵⁷ *Врангель Петр Николаевич* (1878–1928) – барон, российский генерал-лейтенант (1918 г.); с апреля 1920 г. возглавлял Добровольческую (белую) армию на Юге России. В конце 1920 г. эмигрировал.

⁵⁸ Имеются в виду националистические настроения среди украинских кулаков; желто-блакитное (желто-голубое) знамя (символ петлюровцев) было у контрреволюционных националистов на Украине.

Педагогическую науку?

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» – воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

– Всегда, знаете, может пригодиться... в трудную минуту.

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

– На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

– Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие аlegantские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов...

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате.

В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ.

– Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

– Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес – не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

– Что такое? Скажи на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеянно глянул в голубые очи Пана и сказал:

– Скверно, брат, дело... Первый раз в жизни ударил человека.

– Ох, ты ж, лышенько! – ахнул Калина Иванович. – А если они жалиться будут?

– Ну, это еще не беда...

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я проработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, кра-

сивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

– А здóрово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

– Что – здóрово? Работа?

– Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

– История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утреннего события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне с самой серьезной рожей:

– Мы не такие плохие, Антон Семенович! Будет все хорошо. Мы понимаем...

[3] Характеристика первичных потребностей

На другой день я сказал воспитанникам:

– В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается, – не приму.

– Ого! – сказал Волохов. – А может быть, можно полегче?

– Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.

Задоров протянул мне руку.

– По рукам – правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допр⁵⁹ же идти.

– А что, и в школу ходить обязательно? – спросил Волохов.

– Обязательно.

– А если я не хочу учиться?.. На что мне?..

– В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться – уметь.

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота:

– От ускочив, так ускочив!

В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал:

– Не выводи меня из себя. Убери!

– А то что? Морду набьете? Права не имеете!..

Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренно:

– Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!

Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами:

– Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. Уберу, черт с вами!

Я на него загремел:

– Как ты разговариваешь?

– Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к...!

– Что? Выругайся...

Он вдруг засмеялся и махнул рукой.

– Вот человек, смотри ты... Уберу, уберу, не кричите!

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всеильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из вос-

⁵⁹ *Допр* – дом принудительных работ – закрытое учреждение для заключенных Наркомюста УССР; в РСФСР – исправительно-трудовой дом.

питательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала:

- Так вы уже нашли метод? Как в бурсе,⁶⁰ да?
- Отстаньте, Лидочка!
- Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?
- Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного.
- Ну, хорошо, подожду.

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

- Ну, как вы себя чувствуете?
- Все равно. Прекрасно себя чувствую.
- А вы знаете, что в этой истории самое печальное?
- Самое печальное?
- Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением.

Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

– Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию,⁶¹ мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное обстоятельство.

– Может быть, – задумалась Екатерина Григорьевна.

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921 года, я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было.

Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых.

Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение к городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было

⁶⁰ Бурса – в дореволюционной России название общежития при духовных училищах и семинариях с казенным содержанием.

⁶¹ Имеется в виду Комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделах народного образования. Эти комиссии, организованные на основании Декрета СНК РСФСР от 9 (22) января 1918 г. и состоящие из председателя в лице педагога, юриста и врача, занимались разбором дел несовершеннолетних правонарушителей.

там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи.

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили.

В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны.

Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утермарковскими печами.⁶² В этой комнате стояло тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классных комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем.

Постельного белья было у нас полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и к другим учреждениям.

Завгубнаробразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу, его преемник колонией мало интересовался, – были у него дела поважнее.

Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями, эти столики изображали разнообразные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенах против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина – человек – оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал.

Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу, очень редко под «клифтами» оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы: колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».⁶³

На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обвертывали ноги портянками и завязывали веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы.

⁶² Утермарковские печи – печи из кирпича в форме вертикальных цилиндров, обшитые железом.

⁶³ Опера Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–1869) «Русалка» (1855 г.).

Пища наша называлась кондёр. *Кажется, кондёр – одно из национальных русских блюд, и поэтому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь.* Другая пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, – и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаружилось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком или в опродкомарм первой запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне.

Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение:

«Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников сто пудов муки».

В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

Со своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку.

Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство визирало на нас строго и говорило:

– Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз.

Чаще бывало так – начальство задумывалось и произносило:

– Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?

– Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети...

– А кто же вас снабжает?

– До сих пор, видите ли, не выяснено...

– Как это – «не выяснено»?.. Странно!

Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю.

– В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов.

– Двадцать я не дам, получите пока пять пудов, а я потом выясню.

Пяти пудов было мало, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось.

Единственно приемлемым для колонии имени М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать».

В этом случае я сломя голову летел в колонию:

– Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там...

Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой:

– Сто пудов? Скажи ж ты!.. А откедова ж такое?

– Разве не видишь? Губпродком губюротдела...⁶⁴

– Кто их разберет!.. Та нам все равно: хоть черт, хоть бис, абы яйца нис, хе-хе-хе!..

Первичная потребность у человека – пища. Поэтому положение с одеждой нас так не удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов.

Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды), которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило.

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятерю, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятерю, которые им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня.

Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы.

– Это вам рыба.

– Вижу, только я не возьму.

– Почему?

– Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам.

– С какой стати? – покраснел Таранец от обиды. – С какой стати? Я достал ятерю, я ловлю, мокну на речке, а давать всем?

– Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал и не мок.

– Так это мы вам в подарок...

– Нет, я не согласен, мне все это не нравится. И неправильно.

– В чем же тут неправильность?

– А в том: ятерей ведь ты не купил. Ятерю подарены?

– Подарены.

– Кому? Тебе? Или всей колонии?

– Почему – «всей колонии»? Мне...

– А я так думаю, что и мне и всем. А сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки – чье масло? Общее. А дрова, а печь, а ведра? Ну, что ты

⁶⁴ Губпродком губюротдела – продовольственная комиссия губернского юридического отдела.

скажешь? А я вот отберу у тебя яteria, и кончено будет дело. А самое главное – не по-товарищески. Мало ли что – твои яteria! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут.

– Ну, хорошо, – сказал Таранец, – хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите.

Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню.

Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша – киргиза – и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, поддержать Малыша. Все эти счастливицы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.

[4] Операции внутреннего характера

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег – приблизительно мое шестимесячное жалованье.

В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. Ребята хмуро выслушали и разошлись. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на темном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд – маленький, юркий юноша.

– Мы знаем, кто взял деньги, – прошептал Таранец, – только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет⁶⁵ и деньги унесет.

– Кто взял?

– Да тут один...

Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:

– Бубну ему нужно выбить... Чего мы здесь разговариваем?

– А кто выбьет? – обернулся к нему Таранец. – Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу...

– Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю, – предложил я.

– Нет, так нельзя.

Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами:

– Ну, как хотите.

Ушел спать.

Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.

Гуд от радости танцевал по колонии, ребята все просияли и прибежали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их действиях после нашего разговора.

Через два дня кто-то сбил замки в погребе и утащил несколько фунтов сала – все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой, – пропали конфеты, заготовленные к празднику февральской революции, и несколько банок колесной мази, которой мы дорожили, как валютой.

Калина Иванович даже похудел за эти дни; он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:

– Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты!

Таранец знал больше всех, но держался уклончиво, в его расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они.

В спальне я гневно кричал:

– Вы кто такие? Вы люди или...

– Мы урки,⁶⁶ – слышалось с какой-то дальней «дачки».

⁶⁵ Подорвать – убежать.

⁶⁶ Урки, уркаганы (блатн., жарг.) – воры.

– Уркаганы!

– Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки,⁶⁷ у себя крадете. Вот теперь сидите без сала, ну и черт с вами! На праздниках – без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так!

– Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем.

Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись.

На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено.

Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует?

Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору, просить на первое время.

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что в том или ином месте чего-то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше об этом с ним не говорил.

Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я принужден был держать в секрете.

Задоров раскатисто смеялся и шутил:

– А вы думали как, Антон Семенович, трудовая колония, трудись и трудись – и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?

– Посажу в тюрьму.

– Ну, это еще ничего. Я думал, бить будете.

Как-то ночью он вышел во двор одетый.

– Похожу с вами.

– Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.

– Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, все равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого?

– А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься?

– Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать.

– Так ведь вас же обкрадывают.

– Ну, чего ж там – меня? Ничего тут моего нет.

– Да ведь вы здесь живете.

– Какая там жизнь, Антон Семенович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.

– Нет, сторожей не найму и винтовок не дам.

– А почему? – поразился Задоров.

– Сторожам нужно платить, мы и так бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами.

⁶⁷ *Сявки* (блатн., жарг.) – мелкий воришка, низкий, трусливый, лишенный достоинства человек.

Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия.

Антон Братченко, лучший представитель второй партии колонистов, доказывал:

– Когда сторож стоит, никто красть не пойдет. А если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, больше не полезет.

Ему возражал Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя – это было установлено в его деле – никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операций. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических. Костя доказывал:

– Антон Семенович прав. Нельзя сторожей! Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун? – неожиданно обратился он к Буруну.

– А что ж, сторожить, так сторожить, – сказал Бурун.

В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии, я добился ее перевода в какую-то больницу. В один из воскресных дней к ее крыльцу подали Малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же двух километров в час выехала навстречу новой жизни.

Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была начисто ограблена. Приятели ее и помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места, – грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами найдены были все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги и еще много всякой мелочи.

Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными – ее бывшими приятелями и сочувствующими.

Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серьезен, сдержанно-приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии – дело его рук.

Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привел Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.

В спальне, на кроватях и на столах, расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжело-весного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак-Кинлея,⁶⁸ президента Соединенных Штатов Америки.

⁶⁸ Мак-Кинли, Уильям (1843–1901) – 25-й президент США (1897–1901 гг.).

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи, – это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.

Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накопело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:

– А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича.

Бурун вдруг запротестовал:

– Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи!

– И докажу.

– Докажи!

– А что, не взял? Не ты?

– А что, я?

– Конечно, ты.

– Я взял деньги у Антона Семеновича? А кто это докажет?

Раздался голос Таранца:

– Я докажу.

Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что-то хотел сказать, потом махнул рукой:

– Ну, что же, пускай и я. Так я же отдал?

Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед.

– Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько – это, действительно, следует.

Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца.

– Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом⁶⁹ не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?

Ветковский сорвался с места:

– Как – «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?

– Наше! – закричали хлопцы. – Мы тебе сами морду набьем получше Антона!

Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко размахивал руками у самой физиономии Буруна и вопил:

– Пороть тебя нужно, пороть!

Задоров шепнул мне на ухо:

– Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут.

Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров отшвырнул двух-трех. Насилу прекратили шум.

– Пусть говорит Бурун! Пускай скажет! – крикнул Братченко.

Бурун опустил голову.

– Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем, – пусть накажет, как знает.

Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.

Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я – впереди, он – за мной.

⁶⁹ Завкол – заведующий колонией.

У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой – совершеннолетние – была расстреляна. Ему было семнадцать лет.

Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу.

Наконец Бурун медленно поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдания:

– Я... больше... никогда... красть не буду.

– Врешь! Ты это обещал уже комиссии.

– То комиссии, а то – вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.

– А что для тебя в колонии интересно?

– Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что жрать хочется.

– Ну, хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!

– Хорошо.

Трое суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать я его не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказаться, но я заорал на него:

– Какого черта, ломаться еще будешь!

Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку.

Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.

[5] Дела государственного значения

В то время когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые относились к нему сугубо внимательно.

Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда бы на этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по холявам и удивлялись:

– Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное место, жинкам за пазуху, а они – смотри! – прямо за пазуху и полезли.

Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз поиски наши увенчались успехом: в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них все-таки удалось схватить и привести в колонию. У него не нашлось ни обреза, ни награбленного и он отрицал все на свете. Переданный нами в губрозыск, он оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена благодарность.

Но и после этого грабежи на большой дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых» ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги, в кустах – мужчина в извозничьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасное утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колониистскую жизнь вытаращенными глазами.

Колонисты ко всем этим явлениям относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну. Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот-вот в колонию ворвется грабительская шайка и начнется резня. Особенно перепуганы были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить.

В конце февраля наша подвода, ползущая с обычной скоростью из города с кое-каким добром, была остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и сахарный песок, – вещи, почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по голове, он свалился в снег и пролежал в нем, пока грабители не скрылись. Гуд, все время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в колонию, и Калина Иванович и Гуд разразились длинными рассказами. Калина Иванович описывал события в красках драматических, Гуд – в красках комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать навстречу нашей подводе отряд колонистов.

Мы так и делали в течение двух лет. Эти походы на дорогу назывались у нас по-военному: «Занять дорогу».

Отправлялось человек десять. Иногда и я входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым.

Только Задоров получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих лохмотьев.

Дежурство на большой дороге было очень интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию. Хлопцы мерзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы останавливались у самого моста и ожидали новых путников.

При мне колонисты никогда не хулиганили и не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер отдавал все же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения.

Когда показывался наш Малыш, мы его встречали криком:

– Стой! Руки вверх!

Но Калина Иванович только улыбался и с особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная формула:

– Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и выкрэсав.

Наш отряд постепенно сворачивал за Малышом и веселой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о разных продовольственных новостях.

Этой же зимою мы приступили и к другим операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим штатом не управляется.

Охрана государственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды.

Ночь. Скоро утро, но еще совершенно темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова.

– В чем дело?

– Антон Семенович, в лесу рубят!

Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители ночных походов – Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное.

Бурун забирает у меня из рук двустволку, и мы входим в лес.

– Где?

– А вот послушайте...

Останавливаемся. Сначала я ничего не слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперед, наклоняемся, ветки молодых сосен царапают наши лица, сдергивают с моего носа очки и обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прорываются, мы теряем направление и терпеливо ждем. Вот они опять ожили, уже громче и ближе.

Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы не спугнуть вора. Бурун по-медвежьей ловко переваливается, за ним семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Закljučаю шествие я.

Наконец мы у цели. Притаились за сосновым стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания – подпоясанная фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку

дулом вверх, смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился за мной и шепчет, повисая на моем плече:

– Можно? Уже можно?

Я киваю головой. Шелапутин дергает Буруна за рукав.

Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко раскатывается по лесу.

Человек с топором рефлексивно присел. Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в его руках. Бурун весело приветствует:

– А-а, Мусий Карпович, доброго ранку!

Он треплет Мусия Карповича по плечу, но Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой дрожью и для чего-то стряхивает снег с левого рукава.

Я спрашиваю:

– Конь далеко?

Мусий Карпович по-прежнему молчит, отвечает за него Бурун:

– Да вон же и конь!.. Эй, кто там? Заворачивай!

Только теперь я различаю в сосновом переплете лошадиную морду и дугу.

Бурун берет Мусия Карповича под руку:

– Пожалуйста, Мусий Карпович, в карету скорой помощи.

Мусий Карпович наконец начинает подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и шепчет, ни на кого не глядя:

– Ох, ты ж, боже мой!..

Мы направляемся к саням.

Так называемые «рижнати» – сани – медленно разворачиваются, и мыдвигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу. На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопц лет четырнадцати в огромной шапке и сапогах. Он все время сморкает носом и вообще расстроен. Молчим.

При выезде на опушку леса Бурун берет вожжи из рук хлопца.

– Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як бы с грузом, так туда, а коли з батьком, так ось куды...

– На колонию? – спрашивает хлопец, но Бурун уже не отдает ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу дорогу.

Начинает светать.

Мусий Карпович вдруг через руку Буруна останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку.

– Антон Семенович, отпустите! Первый раз. Дров нэма... Отпустите!

Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей, но коня не погоняет, ждет, что я скажу.

– Э, нет, Мусий Карпович, – говорю я, – так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете, государственное.

– И не первый раз вовсе, – серебряным альтиком встречает рассвет Шелапутин. – Не первый раз, а третий: один раз ваш Василь поймался, а другой...

Бурун перебивает музыку серебряного альтя хриплым баритоном:

– Чего тут будем стоять? А ты, Андрию, лети домой, твое дело маленькое. Скажешь матери, что батько засыпался. Пускай передачу готовит.

Андрей в испуге сваливается с саней и летит к хутору. Мы трогаем дальше. При въезде в колонию нас встречает группа хлопцев.

– О! А мы думали, что вас там поубивали, хотели на выручку.

Бурун смеется:

– Операция прошла с головокружительным успехом.

В моей комнате собирается толпа. Мусий Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун – на окне с ружьем, Шелапутин шепотом рассказывает товарищам жуткую исто-

рию ночной тревоги. Двое ребят сидят на моей постели, остальные – на скамьях, внимательно наблюдают процедуру составления акта.

Акт пишется с душераздирающими подробностями.

– Земли у вас двенадцать десятин? Коней трое?

– Та яки там кони? – стонет Мусий Карпович. – Там же лошичка... два роки тилько...

– Трое, трое, – поддерживает Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу.

Я пишу дальше:

– «... в отрубе шесть вершков...»

Мусий Карпович протягивает руки:

– Ну что вы, бог с вами, Антон Семенович? Де ж там шесть? Там же и четырех нэма.

Шелапутин вдруг отрывается от повествования шепотом, показывает руками нечто, равное полуметру, и нахально смеется в глаза Мусию Карповичу:

– Вот такое? Вот такое? Правда?

Мусий Карпович отмахивается от его улыбки и покорно следит за моей ручкой.

Акт готов. Мусий Карпович обиженно подает мне руку на прощанье и протягивает руку Буруну, как самому старшему.

– Напрасно вы это, хлопцы, делаете: всем жить нужно.

Бурун перед ним расшаркивается:

– Нет, отчего же, всегда рады помочь... – Вдруг он вспоминает: – Да, Антон Семенович, а как же дерево?

Мы задумываемся. Действительно, дерево почти срублено, завтра его все равно дорубят и украдут. Бурун не ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает вконец расстроенному Мусию Карповичу:

– Коня приведем, не беспокойтесь. Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Веревка там есть, Мусий Карпович?

– До рижна⁷⁰ привязана.

Все расходятся. Через час в колонию привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в пользу колонии остается топор. Много воды утечет в нашей жизни, а во время взаимных хозяйственных расчетов долго еще будут говорить колонисты:

– Было три топора. Я тебе давал три топора. Два есть, а третий где?

– Какой «третий»?

– Какой? А Мусия Карповича, что тогда отобрали.

Не столько моральные убеждения и гнев, сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на темы о наших похождениях, рождались в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя – колония Горького.

⁷⁰ Рижен – колышек на краю саней.

[6] Завоевание железного бака

Между тем наша колония понемногу начала развивать свою материальную историю. Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя наш тридцатилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем, настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того, голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму не ездили, а мучились с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался.

Наконец, для сельского хозяйства не годилась самая почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре перекатывался дюнами.

И сейчас я не вполне понимаю, каким образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая, тем не менее, поставила нас на ноги.

Началось с анекдота.

Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни разу не приходилось.

Сговорившись с двумя нашими соседями-хуторянами, мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили, «поплывэ чи не поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замерзшей речки.

Перебравшись через лед и поднявшись по какой-то аллейке в горку, мы очутились в мертвом царстве. До десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находились в развалинах. Все они были равны в своем разрушении: на местах печей лежали кучи кирпича и глины, запорошенные снегом; полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались только две продольных кирпичных стены, и над ними печально и глупо торчал в небе прекрасный, как будто только что окрашенный железный бак. Он один во всем имении производил впечатление чего-то живого, все остальное казалось уже трупом.

Но труп был богатый: в сторонке высился двухэтажный дом, новый, еще не облицованный, с претензией на стиль. В его комнатах, высоких и просторных, еще сохранились лепные потолки и мраморные подоконники. В другом конце двора – новенькая конюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей, стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в полном расцвете сил и здоровья.

Калина Иванович только кричал, глядя на все это богатство:

– Ты ж глянь, что тут делается: тут тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!..

Речка окружала имение с трех сторон, обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к реке тремя террасами: на верхней – вишни, на второй – яблони и груши, на нижней – целые плантации черной смородины.

На втором дворе работала большая пятиэтажная мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оста-

вив свои дома наполненными добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда же переходили и дома.

Калина Иванович разразился целой речью:

– Дикари, ты не понимаешь, мерзавцы, адиоты! Тут вам такое добро – палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди, хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму сокирою бьёшь. А почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того – нарубить дров... Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь, никакая революция ему не поможет... Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы проклятые!.. Ну, что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ, – обратился Калина Иванович к одному из мельничных, – а от кого это зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшной красуется. Все равно ж он тут пропадает без последствий.

– Бачок тот? А черт его знает! Тут сельсовет распоряжается.

– Ага! Ну, это хорошо, – сказал Калина Иванович, и мы отправились домой.

На обратном пути, шагая по накатанной предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размышлял: как хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню.

Утром, отправляясь снова на рубку, Калина Иванович взял меня за пуговицу:

– Напиши, голубчик, бумажку этим самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет баня...

Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился взбешенный:

– Вот паразиты! Они смотрят только теоретически, а не практически. Говорят, бак этот самый – чтоб им пусто было! – государственная собственность. Ты выдав таких адиотов? Напиши, я поеду в волисполком.

– Куда ты поедешь? Это же двадцать верст. На чем ты поедешь?

– А тут один человечек собирается, так я с ним и прокачусь.

Проект Калины Ивановича строить баню очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил.

– Давайте как-нибудь без бака этого. Можно деревянный устроить.

– Эх, ничего ты не понимаешь! Люди делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с мясом вырву...

– А на чем вы его довезете? На Малыше?

– Довезем! Было б корыто, а свиньи будут.

Из волисполкома Калина Иванович возвратился еще злее и забыл все слова, кроме ругательных.

Целую неделю он, под хохот колонистов, ходил вокруг меня и клянчил:

– Напиши бумажку в уисполком.

– Отстань, Калина Иванович, есть другие дела, важнее твоего бака.

– Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе бумаги жалко, чи што? Напиши, – вот увидишь, привезу бак.

И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Засовывая ее в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся:

– Не может того быть, чтоб такой дурацкий закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время.

Из волисполкома Калина Иванович приехал поздно вечером и даже не зашел ни ко мне, ни в спальню. Только утром он пришел в мою комнату и был надменно-холоден, аристократически подобран и смотрел через окно в какую-то далекую даль.

– Ничего из этих паразитов большевиков не выйдет, – сказал он сухо, протягивая мне бумажку.

Поперек нашего обстоятельного текста на ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного безапелляционно: «Отказать».

Калина Иванович страдал длительно и страстно. Недели на две исчезло куда-то его милое старческое оживление.

В ближайший воскресный день, когда уже здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились... в имение Трепке.

– А не устроить ли нам здесь нашу колонию? – задумался я вслух.

– Где «здесь»?

– Да вот в этих домах.

– Так как же? Тут же нельзя жить...

– Отремнтируем.

Задоров залился смехом и пошел штопором по двору.

– У нас вон еще три дома не отремонтированы. Всю зиму не могли собраться.

– Ну, хорошо, а если бы все-таки отремонтировать?

– О, тут была бы колония! Речка ж и сад, и мельница.

Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, это классы.

Возвратились домой уставшие и энергичные. В спальне шумно обсуждали детали будущей колонии. Перед тем как расходиться, Екатерина Григорьевна сказала:

– А знаете что, хлопцы, нехорошо это – заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по-большевистски.

В спальне неловко притихли.

Я с остервенением глянул в лицо Екатерины Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал:

– А я вам говорю: через месяц это имение будет наше! По-большевистски это будет?

Хлопцы взорвались хохотом и закричали «ура». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна.

Целую ночь я просидел над докладом в губисполком.

Через неделю меня вызвал завгубнаробразом.

– Хорошо придумали, – поедем, посмотрим.

Еще через неделю наш проект рассматривался в губисполкоме. Оказывалось, что судьба имения давно беспокоила власть. А я имел случай рассказать о бедности, бесперспективности, заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив.

Предгубисполкома сказал:

– Там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без дела. Пускай берут.

И вот я держу в руках ордер на имение, бывшее Трепке, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Я стою среди спальни, я еще с трудом верю, что это не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, вихрь восторгов и протянутых рук.

– Дайте ж и нам посмотреть!

Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросаются с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно звенит:

– Это по-большевицкому или по-какому? Вот теперь скажите.

– Что такое, что случилось?

– Это по-большевицкому? Смотрите, смотрите!..

Больше всех радовался Калина Иванович:

– Ты молодец, ибо, як там сказано у попов: просите – и обрящете, толщьте и отверзется, и дасться вам...⁷¹

– По шее, – сказал Задоров.

– Как же так – «по шее»? – обернулся к нему Калина Иванович. – Вот же ордер.

– Это вы «толщьте» за баком, и вам дали по шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то что мы выпросили.

– Ты еще молод разбираться в Писании, – пошутил Калина Иванович, так как сердиться в эту минуту он не мог.

В первый же воскресный день он со мной и толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он важно прошелся мимо бака.

– Когда же бак перевозить, Калина Иванович? – серьезно спросил Бурун.

– А на что его, паразита, перевозить? Он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по последнему слову заграничной техники.

⁷¹ Цитата из Библии (Матфей, 7, 7; Лука, 11, 9).

[7] «Ни одна блоха не плоха»

Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепке не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший нашу колонию от имения Трепке, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собою новое стихийное бедствие: непролазную, непроезжую грязь.

Поэтому «Трепке», как у нас тогда называли новое приобретение, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам, после завтрака, ожидая звонка на работу, они рядком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях.

Звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раз-другой повернуться каким-нибудь боком к солнцу.

* * *

В начале апреля убежал Васька Полешук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в наробразе на такую картину: толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой-то специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в Краснодар, где обещали поместить в школу.

- Чего ты кричишь? – спросил я его.
- Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим...
- Слышал. Довольно кричать, едем со мной!
- На чем едем?
- На своих двоих. Запрягай!
- Ги-ги-ги!..

Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных. Но от него веяло большой энергией, и я подумал: «Да все равно: ни одна блоха не плоха...»⁷²

Дефективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогою он рассказал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали его Васька Полешук. По его словам, он был человек «ранетый» – участвовал во взятии Перекопа.

В колонии на другой же день он замолчал, и никому – ни воспитателям, ни хлопцам – не удавалось его разговорить. Вероятно, подобные явления и побудили ученых признать Полешука сумасшедшим.

Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы: нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще я жалел, что взял этого молчальника в колонию.

⁷² Цитата (речь Луки) из пьесы Максима Горького «На дне» (1902 г.).

Вдруг Полещук заговорил, заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли и солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной армии и о командире Зубате.

– Вот был человек! Глаза такие, аж синие, такие черные, как глянёт, так аж в животе холодно. Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно.

– Что ты все о Зубате рассказываешь? – спрашивают ребята. – Ты его адрес знаешь?

– Какой адрес?

– Адрес, куда ему писать, ты знаешь?

– Нет, не знаю. А зачем ему писать? Я поеду в город Николаев, там найду...

– Да ведь он тебя прогонит...

– Он меня не прогонит. Это другой меня прогнал. Говорит: нечего с дурачком возиться.

А я разве дурачок?

Целыми днями Полещук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерной бранью. Ребята прямо спрашивали:

– Подрывать собираешься?

Полещук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго, и когда о нем уже забывали и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормозил задавшего вопрос:

– Антон будет сердиться?

– За что?

– А вот если я подорву?

– А ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться!..

Васька опять задумывался.

И однажды после завтрака прибежал ко мне Шелапутин.

– Васьки в колонии нету... И не завтракал – подорвал. Поехал к Зубате.

На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки.

– Полещук – таки дернул...

– Весной запахло...

– В Крым поехал...

– Не в Крым, а в Николаев...

– Если пойти на вокзал, можно поймать...

И незавидный был колонист Васька, а побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жертвы, пошел искать лучшего. И знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не может. Ребятам я сказал:

– Ну и черт с ним! Ушел – и ушел. Есть дела поважнее.

* * *

В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях: ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Калина Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощенного булыжником двора, – ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии.

В колонии Калину Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие:

– Смотри ж ты мне! Это тебе не то, как вы один з одним обращаетесь! Это животная – она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досажать и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семеновичу не ходи. Хоть – плачь, хоть – не плачь, я тебе все равно споймаю. И голову провалю.

Мы стояли вокруг этой торжественной группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожавших башке Гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитанна.

Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии.

И вот благословенная картина: Бурун с Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил:

– Ах, паразиты, и пахать не умеют: вот тебе огрих; вот огрих, вот огрих...

Хлопцы добродушно огрызались:

– А вы бы сами показали, Калина Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали.

Калина Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо:

– Кто, я не пахав? Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихив сделав, а ты не понимаешь.

Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Гуду в качестве добровольного помощника по конюшне.

В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поразжал их впечатлительные души кузнечно-слесарной эрудицией Софрон Головань.

Софрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивши и никогда не бывал пьян, обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом: у него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Софрона стояла на самом харьковском шляху, рядом с постоялым двором, и в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Голованей.

В колонию Софрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент. Сама кузница была в полуразрушенном состоянии, но Софрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на помощь.

Недоумение мое разрешил на «вечернем докладе» Калина Иванович.

Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал:

– А этот паразит Софрон не даром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали, а тут он, знаешь, как будто на советской службе будет считаться.

– Что ж нам с ним делать? – спросил я Калину Ивановича.

– А что ж нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А струмент? И квартир у нас нету, а если и есть какая халупа, так и столярей же нужно звать. И знаешь, – прищурился

Калина Иванович, – нам што: хочь рыжа, хочь кирпич, абы хата богата. Што ж с того, што он кулак, работать же он будет все равно, как и настоящий человек. *Мало ли чего эти большевики говорят, так не все ж на правду переводится.*

Калина Иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался:

– Мужики эти, паразиты, все равно у него отберут кузню, а толк какой с того? Все равно проведут без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, а Софрону все равно пропадать. Подождем малость – дадим ему по шапке: у нас советская учреждения, а ты што ж, сукин сын, мироедом був, кров человеческую пил, хе-хе-хе!..

Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать, инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр, – *настоящий советский человек. Это было видно из того, что в самый день приезда в колонию, когда кто-то из колонистов пытался подшутить над инструктором, он недвусмысленно пообещал:*

– Потиху, а то я поступлю с тобою по-флотски.

Как это «поступить по-флотски», до конца нашей истории осталось тайной, но ребята тогда показало, что это нечто внушительное. Сам Елисов не обладал, впрочем, никакой внушительностью: маленький человечек с черными усиками, и столярное дело он знал неважно, но у него была настоящая охота принять участие в наших подвигах, и к работе, к задачам нашим, удачам и неудачам он всегда относился с весёлой страстью. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы, – а их нужно было немало, – сначала тоже не радовали нас. Софрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в советском государстве. Жалованье его как инструктора выражалось в цифрах ничтожных: в день полочки Софрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе-самогоннице с приказом:

– Три бутылки первака.

Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой, из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка.

Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое принесла с собою кузница. В восемь часов в колонии раздавался веселый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчали два-три селянина, говорили о хозяйских делах, о подразверстке, о председателе комнезама⁷³ Верхоле, о кормах и о сеялке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости.

⁷³ Комнезам – Комитет незаможных (неимущих) крестьян-бедняков (в РСФСР – комбеды).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.